

Владимир Зенкин

Инанта Грёза. Путник

*Приветствую неявь благоговенья!
И не ропщу, что есьм она неявь.
Уже я счастлив лёгким дуновеньем
Твоей улыбки, что придумал я...
Я?.. То не я придумал! Брысьте, бесы
Тщеславия от буденной тщеты!
Фрагмент нечаянной, ничейной пьесы.
Я подсмотрел, где в главной роли — ты.*

*А зал — не зал. А сцена — суть не сцена.
Но я продрался в сумрак лиц и лет,
Рублёвки мятой, фунта или цента
Не заплатив за правильный билет,
За бархатное снисхожденье ложи.
И может быть, поэтому мне дан
Удел душой притрогаться к следам
Души и правды, кажущейся ложью.*

*Благоговенья встребовал? А — мало?
Хотя бы, и хлебнув стакан мадеры...
Благоговенья требую! Не манны.
Не благ. Благоговенья и веры
В необходимость прожитых напраслин,*

*Рубцов тоски душевного испода...
Я на твою улыбку, как на праздник,
Доплёлся, наконец, и встал поодаль.*

*— Узнай меня! Сама. Узнай... Узнала?
С подмостка эшафотного зря-действия,
Плеснув глазами в потный отзрак зала...*

— Мы встретимся. Печалься и надейся.

*— Но жизнь — в разор! Не добр не зол,
непутен...*

Начать с азов? Начну с азов... — Не надо.

— Века на миги крошены... Инанта!

*— Мы встретимся. Мы сбудемся. Мы —
будем.*

Я (Первые странности)

1

Самый первый раз. До этого — ничего похожего. Откуда во мне такое? Само собой случилось? Или подарок того несчастно-счастливого случая?

Мне тринадцать. Больничная палата. Капельница. Температура — под сорок. Сознание

кувыркается меж бредом и явью.

После того... — законно-неотвратно. После встречи с теми двумя на мосту. После прыжка в ледяную воду... По собственной вздорной инициативе. Не надо было вообще с ними разговаривать. Я разговаривала. Не так, как они хотели. Мост был пешеходный, узкий. Никого, кроме этих... Один стоял спереди, другой сзади. Они решили увидеть мой страх. Я должна была умолять их меня пропустить. Они бы пропустили. Умолять? После ихних поганых слов? Я прыгнула. Показать им презрение. Показала...

После бега по улице в мокрой одежде, под пронизывающим ветром: скорее в тепло... скорей переодеться...

Честно заработанная двусторонняя пневмония. Двое суток сплошной горячки. Сегодня, уже после кризиса — просветы с затмениями вперемешку.

У моей кровати сидит Анна Никифоровна. Для меня — мама Аня. Иногда лицо её делается чётким и ясным, и тогда видны её припухлые после бессонной ночи веки, усталые морщинки под глазами, бледные истревоженные губы. Она говорит мне тихие слова, которые я не все слышу, гладит прохладной рукой голову. Но потом лицо её плывёт и исчезает в знойном, вязком, тоскливом обвале белой палаты и я опять падаю в бредовую

рвань.

Приходит следующее прояснение. Я вижу у своей кровати дежурного врача Инну Глебовну молодую, красивую и громкую — я к ней привыкла уже, мне нравится её видеть и слышать её звенящий голос; и другого врача — громоздкого пожилого мужчину с большим, чисто выбритым подбородком, с густыми бурыми бровями, из-под бровей — цепкий, неспешный взгляд. Инна Глебовна объясняет маме Ане, что это консультант, профессор мединститута, авторитетнейший пульмонолог. Мама Аня стоит в стороне, уступив место врачам, почтительно кивает головой.

Профессор кратко взглядывает на мой рентгеновский снимок, повернув его к оконному свету. Щупает мой лоб; я чувствую его ладонь: какое-то колкое смутное электричество проникает в меня. Мне не делается спокойней, как от руки мамы Ани. Что-то неверное, неуютное от его ладони, от его взгляда, даже от его покровительственной улыбки. Тёмненькая крапина ошущенья, давний след чего-то плохого, забытого. Чего?.. я же не встречалась с ним никогда.

Профессор сажает меня на кровати, прослушивает фоноскопом: сначала сзади, задрав сатиновую сорочку, потом спереди. Я послушно дышу и настороженно смотрю на его большую

руку, прижимающую к моей груди мембрану фоноскопа. Выше кисти, сбоку, у него два малоприметных восковых шрамика: две неровных пологих дужки овала, одна против другой. Я не свожу глаз с этих давным-давно заросших следов... следов чего?..

Профессор убирает фоноскоп, я ложусь на подушку, накрываюсь одеялом: меня знобит от высокой температуры. Он объясняет что-то про меня Инне Глебовне, что-то сложное, медицинское, я не понимаю и не слушаю. Его рука, поправляя одеяло, задерживается на моём плече. Он машинально постукивает по плечу плотными пальцами с короткими волосками на тыльной стороне. Продолжает наставительный разговор с Инной Глебовной. На безымянном его пальце — большое золотое кольцо с затейливым узором в виде старинной печати. Лишь мельком взглянув на кольцо, я опять впиваюсь глазами в эти старые шрамики, в эти следы... Ну конечно — следы зубов... чьих?

Мне становится жарко, хотя только что было холодно, в висках — клювистый стук, мутор. Я высвобождаю из-под одеяла свою руку. Я пальцами трогаю его руку... это самое место. Я осязаю мелкие бугорки, — заросшую рану, из которой текла кровь. Я чувствую липкую злую влагу чужой крови у себя на губах...

— Что? — поворачивается профессор ко мне, отрываясь от разговора.

— Вам было больно тогда? Я вас тогда очень сильно укусила. Я испугалась, — эти мои слова берутся как-то сами собой, они странно вытекают из надвинувшегося на моё сознание сизого душного клуба, и каким-то не очень моим делается мой голос. — А зачем вы хотели ударить Игоря камнем по голове? Если полезли драться, то кулаками деритесь, а не камнем. Вы могли его убить.

Густые брови профессора поднимаются. На лбу лепится гармошка морщин.

— Девочка, ты о чём? Какого Игоря, каким камнем?

— Игоря. Моего брата. Вас было четверо, а он — один. Игорь вам нос расквасил. Вы стояли в стороне, у стенки. А товарищ ваш... тот верзила в кожаной куртке, который начал драку — помните?... он крикнул вам: «Нападай, Щур! Мы его уроем!». Вы и схватили камень. Я испугалась, что вы убьёте Игоря, бросилась к вам... и укусила.

В серых глазах профессора, за правдивым изумленьем, на миг мелькает ещё что-то... что-то похожее на никчёмную тревогу... мелкая суета-досада; от нежданно, от зря вспомненного. Он опускает подворот белого халата, закрывая шрамики на руке.

— У тебя жар, девочка. Тебе немножко

показалось.

— Нет, — упрямо насупливаюсь я. — Не показалось.

— Это следы от зубов собаки, дорогая. Тогда ещё не было на свете ни тебя, ни даже твоих родителей.

— Это следы от моих зубов. Скажите, а почему вас тогда называли Щуром?

Профессор, не обращая на меня внимания, бросает последние фразы Инне Глебовне насчёт моей болезни, поднимается и уходит. Я провожаю его взглядом. Мне кажется, что его широкая спина под халатом слегка поёживается. Я знаю, что больше он в мою палату не заглянет... найдёт, наверное, причину не заглянуть.

И я почему-то знаю, что он сказал правду, что эти его шрамики старше меня и моих родителей. Лет сорок им или больше; ему тогда было ... шестнадцать или семнадцать. А мне тогда было столько же, сколько сейчас... Мне?

Я напрягаюсь до злых мурашек в затылке. Я стискиваю зубы, сжимаю горячие кулаки под одеялом. Чтобы понять. Стены перестают качиваться, в висках утихает алый стукот. Я понимаю, наконец. Не мне, разумеется. Совсем другой девчонке. Совсем другой... Почему-то я вспомнила, что с ней приключилось тогда. Сорок лет... Будто я стала ею. Перенеслась в неё. Так

разве можно?

А, ну да, это у меня бред, наверное, от температуры.

Мне дают какие-то горькие лекарства. Мне меняют раствор в капельнице. Я закрываю глаза, успокаиваюсь. Я чувствую сквозь дрему на своей голове прохладную, ласковую ладонь мамы Ани. Я поправляюсь. Я обязательно поправляюсь. Всё пройдет...

А потом, ночью, в полусне-полуяви, моё понимание опять пропало. Я опять вспомнила про себя.

Мы с Игорем возвращались домой по тёмной неопрятной улице. Домá в один или два этажа — ветхие, усталые, свет в корявых окошках скучен и тускл. Мы проходили мимо совсем несчастного дома без крыши: его готовят к ремонту или вообще собираются сносить. Безжизненные дыры оконных проёмов, ободранные стены в серых тенях. На земле — груды деревянного хлама, кусков штукатурки, кучки отбитого от стен кирпича. Эту разруху освещает одинокий фонарь на столбе.

Как мы очутились здесь сырым осенним вечером?

Для Игоря — всё было правильно: в конце улицы, в новой пятиэтажке, жила его Неля, которую он сопровождал после гуляний по городу. Игорь полторы недели, как вернулся из армии и

проводил почти все вечера, иногда даже прихватывая и ночи, со своей, дождавшейся его зазнобой.

Для меня — всё было неправильно. Сегодня я оказалась никчемушной случайной обузкой счастливой парочки.

Дело в том, что из танцевальной школы, где я занимаюсь вечерами, мы возвращаемся обычно втроём с Ликой и Яной — моими соседками и одноклассницами. Вместе быстро пройти по сумрачным коротким улицам до оживлённого проспекта не очень боязно. Но сегодня, как назло, Лика болела ангиной, а у Яны ещё не зажил вывих стопы, так что возвращаться из «плясалки» мне предстояло одной. Мама собиралась сама меня встречать. Но позвонил из автомата Игорь, сообщил, что ихняя с Нелей развлекательная программа сегодня сокращена, они уже направляются домой, так как Неля должна выспаться перед завтрашним экзаменом да ещё перед сном кое-что повторить. Мама вспомнила, что Нелин дом находится совсем недалеко от моей «плясалки», и попросила Игоря забрать меня.

Короче, к «дворцу» Игоревой «принцессы» мы подходим втроём. Мне велено подождать у подъезда («Полминутки, я — до двери и назад»), и они исчезают. Я стою и терпеливо жду, зная, что «полминуткой» не обойдётся. Мне хочется,

конечно, потихоньку войти, тайком, издали взглянуть на эти загадочные поцелуйные ритуалы между этажами, но я перебарываю недостойное желанье.

Игорь возвращается действительно быстро, берёт меня за руку, и мы весело шагаем по пустой грустной улице. Напротив этого расхристанного дома нас встречают четверо. Главный и старший из них, плечистый «ван-дамчик» в кожаной куртке — законный претендент на Нелину любовь, как выясняется из нескольких выпендрёжных фраз; и что «один пришлый баклан его, хозяина района, слегка огорчает», а потому должен получить по заслугам. Трое других, помладше — «группа поддержки». Игорь, игнорировав «баклана», пытается мирно вразумить «ван-дамчика» с помощью простейшей логики. Но логика здесь, конечно же, отдыхает.

— Эх, пацаны, нашли вы приключений на свою... заднюю мыслительную часть! — сокрушается Игорь, сбрасывает на землю сумку, приказывает мне отойти в сторону и не бояться. Я встаю у стены и не сильно боюсь. Я знаю, что Игорь служил в каких-то очень специальных морских войсках на Дальнем Востоке, и что этим четверым дуракам сейчас придётся не сладко.

Драка начинается, и через пару секунд ко мне, под стенку, отлетает один из «группы поддержки»:

круглое щекастое лицо, кровь из разбитого носа. Он медленно, неохотно поднимается с земли, в мелких глазах — злость и растерянность.

— Нападай, Щур, какого хрена стоишь! — рывкает ему главарь, «ван-дамчик». — Мы его уроем!

Щекастый оттирает кровь ладонью, хватая из кучи битого кирпича здоровенный отломок, свирепо мычит и идёт к Игорю сзади. Игорь занят другими и его не видит.

— Сто-ой!.. — в испуге-отчаянье кричу я, бросаясь за ним, повисаю у него на руке, сжимающей отломок.

Он пытается стряхнуть меня, пинает ногой, а я впиваюсь зубами ему в руку, повыше кисти. Я чувствую, как мои зубы прокусывают кожу и погружаются в мясо; они сомкнулись бы, если бы не упёрлись в кость. Я слышу над собой его вопль. Что-то ударяет меня вскользь по голове и по плечу. Я разжимаю зубы. Он отшвыривает меня в сторону, я падаю на землю. Боль в затылке. Тьма.

Я открываю глаза. Меня тормошит Игорь.

— Люда, Людочка! Что с тобой? Сильно болит?.. где болит?

— Немножко... затылок...

— Вроде, крови нет.

— Об землю просто... слегка... Да проходит уже. Проходит, — я встаю с его помощью,

оглядываюсь. — А где эти гады?

— Смылись. Поняли, что можно и без башки остаться.

У Игоря самого разбита губа и ссадины на лбу и на руках. Я трогаю свои губы. Они тоже в крови.

— Это не твоя кровь, — улыбается Игорь, доставая платок, вытирая мне губы. — Ты его, конечно, здорово грызнула. Но полезла зря.

— Он бы тебя — камнем по голове.

— Это — вряд ли. Хотя... Ну, молодец, сестрёнка. Выручила. А зубки твои он надолго запомнит.

— Мама в ужасе будет, когда нас увидит, — говорю я с приятным тщеславием.

— Да уж, — соглашается Игорь.

Годы спустя, вспоминая это первое своё наваждение и пытаюсь постичь то, что со мною потом стало происходить, я подумала, что душа человека — намного причудливей, чем воображается нам. Что душа человека существует не только в настоящем. Она занимает и бережёт всё пространство его прошлого и даже тайком может проникать в будущее. Душа живого человека. Живого... И если мне, моей сущности, моему сознанию, удалось переметнуться в тот неблизкий кусочек прожитой жизни, принадлежавшей незнакомой девочке Люде (болезнь моя стала тому причиной, либо другое что?), значит, той девочки

Люды...почему ж девочки?.. наверное, женщины Людмилы?.. уже не было к тому времени на свете. Иначе, никак не получилось бы, не вышло бы у меня.

Когда она умерла: в четырнадцать лет?.. в пятьдесят четыре?.. я не знаю и не смогу узнать. Хотя бы уже — в пятьдесят четыре! Хотя бы! Всё равно, жаль.

2

Второй случай. Мне — шестнадцать. После этого случая я уже по-другому, со взрослой печалью поняла. Всерьёз это у меня. Что-то будет?..

Маленький сквер у перекрёстка, рядом с двумя белыми четырнадцатизэтажками. Каштановая аллея. Газоны давно не стриженной травы. Скамейки из широких, лакированных досок. Скамейки пусты, кроме одной. Несколько человек, обступивших скамейку. На досках лежит женщина с бледным остановившимся лицом, с закрытыми глазами. Рука её бессильно свисла до земли, голова склонилась набок.

Окружающие взволнованно
переговариваются. Кто-то пытается встряхнуть женщину за плечи. Кто-то, открыв бутылку с минералкой, брызгает ей в лицо.

Я подошла вблизи, взяла её руку, пытаюсь

нащупать пульс.

— Проверяли уже, — вздохнул пожилой толстяк в бейсболке.

Подошедший вслед за мной мужчина быстро сбросил с плеча на траву свою сумку, сделал отстраняющий жест для всех.

Подошедший был высок, костист, крупнолиц. С большим загорелым лбом и залысинами.

— «Скорую» вызвали, надеюсь? — резко спросил он.

— Само собой, — кивнул толстяк.

— Объяснили в чём дело?

— Ну да. Мол, женщина в тяжёлом обмороке.

Сердца почти не слышно.

Мужчина тронул пальцем сонную артерию лежащей.

— Уже — не почти... Давно лежит?

— Минут несколько, — отозвалась яркая загорелая дама в розовых брюках. — Она впереди меня шла, как-то неуверенно, осторожно шла. Потом свернула к скамейке и вдруг начала крениться... Я подбежала, уложила её. Вот.

— Т-ак... — лобастый оглядел собравшихся, показал рукой на меня. — Иди-ка сюда, — повинаясь его жесту, я подошла к торцу скамейки. — Фиксируешь ей голову. Чуть нажми на щёки, чтобы рот был открыт. Спокойно.

Руки мои слегка дрожали. Лицо женщины —

сырой мел, губы сизы-бескровны, сомкнутые веки неподвижны, но кожа — я ощутила ладонями, удивилась, успокоилась — тепла живым, лёгким теплом. Я, присев на корточки, придерживала ей голову. Губы её раздвинулись.

— Она не умрёт? — тихонько спросила я.

Он, наклонившись, упёр ладони ей в грудь.

— Будем звать назад. Далеко не ушла.

Обязана вернуться.

Жёсткие, частые нажимы на грудную клетку — вот-вот хрустнут рёбра — быстрый наклон к губам — вдувы-выдувы воздуха... опять злые нажимы-приказы оцепеневшему сердцу — опять воздушные встрясы из губ в губы — команды бессильным лёгким...

Грудь женщины ходила ходуном под уверенными руками профессионала. Но он убирал руки — и грудь опять оставалась в прежнем зловещем покое.

— Эй! Подруга! Ну-ка без глупостей! — рычал лобастый, вновь принимаясь за работу. — Нам с тобой ещё жить да жить. Слышь, не упрямясь! А ну, шагом марш назад!

В моих ладонях была её голова, шея, сонные артерии. В них, вдруг казалось мне, что-то начинало вздрагивать, но сразу понимала я, что это не она, что это пульсы в моих пальцах, это моя кровь стучится в неё...стучится... «Пожалуйста,

отзовись! — шептала я ей. — Прошу тебя, пожалуйста, ответь мне!.. ответь мне тем же — тонкими счастливыми стуками ожившей крови».

Но ответа не было, время уходило. «Где ж эта проклятая «скорая!»». Стоящие рядом напряжённо молчали. А мы с ним свирепо работали: он — своими руками и лёгкими; я — своими пальцами, пульсами, своей настойчивой кровью — стучались, ломались в неё...

Открытый лоб женщины был передо мною. Заметные складочки над переносьем — прожитое-пережитое. Тёмные подкрашенные волосы с просветами у корней. Женщина была старше моей матери. Но ещё совсем не старая. Строгое худощавое лицо. Не иначе — сильно чувствовала, много думала. Но, наверное, не думала, чтобы вот так... на скамейке...

В моих глазах защипало. Потом я вздрогнула. Оттого что что-то случилось. Через мои раскалённые ладони, через её сомкнутые веки... через невесть что ещё — я поняла. Случилось. Плохое. Ужасное. Хотя её кожа была по-прежнему тепла и упруга, лицо бледно и спокойно.

Лобастый убрал руки с её груди, поправил её бежевую блузку, выпрямился, глянул на часы. Сокрушённо вздохнул.

По аллее к нам ехала белая карета «реанимации».

— Последняя надежда — дефибриллятор.
Хотя...

Я почему-то знала, что не поможет ей даже
чудодейственный, неведомый мне
«дефибриллятор».

— Отпускай. Чего ты держишь? — с лёгким
недоумением сказал лобастый.

Но я не убирала ладони, не могла. Что-то мне
надобилось уловить из того, от неё уходящего. Я
пыталась... а наверное, не я, а она пыталась что-то
важное передать мне... про себя. Колкий озноб
сквознул по спине. В глазах вскипела холодная
щёлочь.

Потом я стояла в стороне и смотрела, как
женщину спешно укладывали на носилки, как
носилки вдвигали в священный сумрак
реанимационной кареты, как лобастый на ходу
объяснял что-то монолитному строгому врачу, и
тот кивал, закрывая дверцу.

Наблюдатели, обменявшись последними
озабоченными фразами, расходились. Лобастый
тронул меня за плечо, спросил, всё ли в порядке. Я
что-то пробормотала, покивала головой.

— Ты молодец, — бросил он на прощанье. —
Успокойся. Не бери слишком близко. Бывает!

— «Слишком близко», — шептала я,
медленно шагая по опустевшей аллее. — Докуда
оно — близко?.. а докуда — нет.

Слоистое марево у меня в глазах вместо, чтобы рассеиваться, стало густеть, и аллея начала нехорошо покачиваться. Ноги подвели меня к ближайшей скамейке. Сердце билось неровно, малосильно, а воздух сделался жёсток и сух. Я откинулась на спинку, тряхнула головой, пытаюсь избавиться от наважденья. Всё видимое перед глазами и все ощущения мои медленно гасли, будто свет в кинотеатре перед началом фильма. Я ещё успела удивиться и взбеспокоиться: «Не фига себе!.. а я, часом, не помираю?.. во — будет кино!».

Было. «Кино». Я в главной роли. Другая я? Не другая. Единственная. Возможная. Незнакомая себе теперешней. О чём речь-то, вообще?..

Плавная падуга потолочной реальности — чопорные наплывы, снежный гипс с каймой узорно-бумажного серебра; в центре — четырёхрогая псевдохрустальная люстра... Куб мебелированного рая — гостиничная комната. Его комната. Я — в его комнате. Моя чуть дальше по коридору. Но я — в его. Верхний этаж: за окном — сизо-дымно-буро-зелёные, черепично-жестяные торосы — крыши питерских проспектов; далеко за ними, в утренней сентябрьской синеве — золотой стилет Петропавловки.

Он расхаживает по комнате и говорит слова. Произношение у него слишком правильно, чёткое, без привычных скороговорных огрех: смятий

концов фраз небрежений к паузам и тонам. Как у большинства русских, давно живущих в заграничной нерусской среде.

Но самое ужасное — не правильность слов, а правильность смысла их. Мне хочется спрятаться за кресло, на котором я сижу, и пореветь там в одиночку, по-девчачьи, в роскошном обилье слёз и соплей. Но я остаюсь сидеть, слегка выпрямляюсь, по щеке у меня скатывается никчёмно аккуратная слезинка.

— Что поделаешь, говорю я ему и себе, — если мы уже безнадежно взрослые. Мне — сорок, ты знаешь..

Он останавливается, подходит, берёт меня за подбородок.

— Эй! Ты, вообще-то, жила до сих пор? До этого десятка дней? Здесь...

— Не-а, — сглотнула я терпкий комок.

— И я, похоже что — не-а.

— Как же оно, такое?..

— Эта международная конференция по проблемам металлоорганики созвана в славном городе Петербурге никакой не академией наук, а лично Всевышним по ходатайству наших с тобой ангелов-хранителей. Ради нашей встречи. Стало быть, время пришло.

— Годков пятнадцать назад бы. Тому бы времени...

— Давай разберёмся, — сел он прямо на паркет передо мною, скрестив по-турецки джинсовые ноги, — прислушаемся к себе, друг к другу. Кто мы? Зачем мы? Что с нами случилось?

— Ага, — сварливо всхлипнула я. — Позвольте доложить, мистер Коплев: к вашим услугам обыкновенная, весьма не юная особа, хотя ещё, вроде как — ничего; мало преуспевшая в науке сотрудница рядового НИИ, образцово-показательная — до недавнего времени — жена своего мужа и мать своего малолетнего сына. И на данную высокую конференцию она попала случайнейшее; если бы не болезнь зава лаборатории — фиг бы она попала.

— Вот видишь, — улыбнулся он, — всё устроено там, — показал пальцем в потолок.

— Разрешите продолжить доклад? И вот, на первом пленарном заседании эту особу угораздило сесть рядом (опять — его насмешливый палец к потолку) с научным светилом, содокладчиком знаменитого профессора Фирша, достойным гражданином Канады, мистером Коплевым; не просто сесть, а безответственно познакомиться с ним, а затем, в кратчайшие сроки, потеряв ум, честь и совесть, а также элементарный инстинкт самосохранения, влюбиться в него, втюриться по уши, будто остервеневшая от невинности гимназистка.

— Следует заметить, миссис, что и вышеназванное «светило» так же, совершенно неожиданно для себя...

Я протянула руку, закрыла ему пальцем рот, не удержавшись, провезла палец по небритому подбородку, по этой чёртовой ямочке, по крепкому кадыку, по горячей впадинке меж ключицами.

— Ладно-ладно, речь пока не о нём, об особе. И вот, наконец — всё позади. Весь счастливый кошмар — позади: несколько сказочных дней и ночей. Завтра особа отбывает в свой родной областной центр. К заждавшимся мужу и сыну. А он — за океан. Да и пускай бы — крест на всём, флаг — над всем! Эка невидаль в нашей жизни! Очухаться б от любовного угара особе, призабыть бы чуток, отвздыхаться бы, отслезиться бы втихаря...

Как бы не так! Особу пытаются напоследок добить до полного счастья, а именно: предлагают руку и сердце... и естественно, всё остальное. То бишь — бросить всё и лететь за океан, в большую страну Канаду, в красивый город Торонто. Насовсем и бесповоротно. А чо, щас сумочку соберу, зубки почищу, губки подкрашу — и айда, полетели!

Он поморщился, разогнул ноги, встал с пола.

— Ну зачем ты так, Свет! Думаешь, я не понимаю, каково тебе.

— Каково мне? — я часто моргала, саднила глаза вдруг высохшими наждачными веками. — Каково мне! Я ещё сама не догнала, каково мне. Я догоню потом... потом, когда тебя рядом не будет.

— Свет... — глух, напряжён его голос. — Я никого никогда не любил так. И уж точно — не полюблю. Не поверил бы, что так возможно. Для мужика — под пятьдесят. Для меня... За какие-то десять дней. Это божественное чудо, Свет! Невыразимое словами. Как я теперь без тебя?.. не представляю.

— А я мужу изменила, — ухмыльнулась я. — Впервые. Почему-то ни хрена не стыдно.

— Изменить можно тем, кого любишь. А ты не любила мужа.

— Когда-то...

— Никогда не любила.

— Тебе откуда знать?

— Знаю.

— Знает он...

— «Привычка свыше нам дана. Замена счастья...».

— Ладно тебе! У меня муж хороший. Он меня любит. По-своему. Он мне не изменял.

— Уверена?

— Он, наверное, не смог бы, не решился. Чтобы меня не огорчить. Зато я смогла.

— Свет.

— Помолчи! — («Сделал же, хитрец, моё имя! Мужское «Свет» — хлёткая, холодная ясность»). — У меня хороший муж. Только вялый немного. Спокойный. Он меня на тринадцать лет старше.

— Велика беда, я на девять.

— Ты совершенно другой. Ты — это ты. Я тебя... страшно люблю. Страшно люблю — почти ненавижу. А его мне жалко. Без меня он пропадёт. Или сопьётся.

— Так и я сопьюсь. Что мне ещё делать?

— Не сопьёшься, ты сильный. Даже имя у тебя — Лев, царь зверей. Свалился на мою голову, зверюга! Как же теперь?.. — в горле у меня опять вспух колючий колтун. — Ничо-ничо, — хрипло заключила я, — не смертельно, жить будем.

Он опять наклонился ко мне, взял, приподнял мой подбородок. Этот бесцеремонный жест меня раздражал и одновременно нравился, я даже сама иногда приближалась к нему, чтобы он так делал, а потом капризно отдёргивалась.

— Погоди, Светка, — («У!.. так даже похлеще; Светкой меня звали лишь в детстве пацаны и уличные подружки... а почему бы тебе не назвать меня «светиком», как шелестит муж; назови меня «светиком» — и я, одним махом, вдребезг тебя разлюблю, и всё кончится... может быть... но нет, зверюга не знает подобных слов»). — Погоди.

Ещё раз. Давай взглянем на всё ещё раз, сверху, с высоты. Я говорю — чудо божественное. Миллионный, миллиардный шанс. Нам, счастливым, досталось такое. Очень немногим достаётся такое. Мы. Две половинки одной целости. Банальщина, да? Но ведь так! Чёрт побери!.. выживут, проживут все без нас! Мы — друг без друга не проживём. А проживём — то будет не жизнь. Ты не хуже меня знаешь — не жизнь. После всего.

Тупой коготь в сердце... шевелится всё отчётливей, всё жёстче. Ага... слишком долго отдыхал, давал мне поблажку? Решил напомнить, думает, я про него забыла. Про него забудешь...

Тупой коготь в сердце поселился много лет назад, смолоду; я давно уже свыклась, приучилась с ним жить в недружеском мире, не злить его по пустякам.

Бывали случаи, когда он делался нагл, изощрён и упорен, и не помогали никакие медикаменты. Когда он совсем уже оголтел, я криво улыбалась ему, кусая губы от боли и говорила злобно: «Ну, давай, сволочь, вперёд, чего ждёшь... давай, делай своё... Только учти — когда я сдохну, ты сдохнешь тоже. Ты, подлая тварь, жив, пока я жива. Понял, гад? Давай!.. Я тебя не боюсь».

Я его боялась. Он не знал этого. Одумывался. Не сразу. Медленно. Отпускал.

Вот — теперь. «До чего ж некстати! Придётся лезть в сумку за таблетками при нём... э!.. лицо, лицо соблюдай!».

— Что с тобой?

«Разве от него скроешь? Ну-ка — понебрежней улыбочку... умеешь».

— Так, пустяки.

В дегтярных глазах его всплывает тревога.

— Не обманывай, я же вижу.

«Обманывай же, давай, дура!.. лицо скорей делай, взгляд... А впрочем — зачем? А пусть знает».

— Да, а ты думал — я здорова, как молодая лань? Да, увесистый сердечный букетик. Да, кардио-диспансер — мой второй дом. Да — вот видишь — полсумки медикаментов. Ты извини уже...

Он терпеливо ждал. Проглоченные таблетки помогли на удивление быстро.

— Там и у медицины возможностей больше... — неловко вздохнул он.

— При чём здесь возможности?

— Н-ну, в общем... Разумеется. Тебе, конечно решать. Я прошу тебя, Свет...

— Ты-то холостой.

— Разведённый.

— Дочь, говоришь, взрослая.

— Двадцать пять лет. Живёт в Калифорнии.

— Вот. А у меня сыну — одиннадцать. Всё понимает.

— Значит — поймёт.

— С ума сошёл? Чтоб я его оставила!?

— Кто говорит — оставила? Только с ним. Он привыкнет. Одиннадцать — замечательный возраст.

Я сердито отворачиваюсь к окну, к размягчающимся от крепкого солнца соседним крышам.

— Как ты представляешь себе?.. Взять. Собрать. Увезти. А сын привязан к отцу. Они хорошо ладят друг с другом. Он не обязан понимать это. Как мне потом смотреть ему в глаза. Мама сменила папу на заграничного. На — помоложе; на — побогаче.

— Дети быстро вырастают. И научаются думать по-взрослому. Лет через пять он поймёт всё.

— Во-от. — не отлипаю я от жирных пластилиновых законных крыш. «Только сейчас не надо, не подойди... с обещаньями, с утешеньями, с умными ладонями — на плечи... не надо — всё совсем смешается, скомкается... о, молодец, — мельком оглядываюсь, — и постой там, у стеночки, у картины, полюбуйся намалёванным морским штормиком, пока я...». — Вот и давай подождём — эти пять. Наверное, даже меньше. Так будет честно, правильно. У меня другого выхода нет.

— Что делать мне?

У тебя другой выход есть.

— Да? Крест — на всём! Так себе, лёгкое приключеньице?

— Попытайся.

— Можно тебя душой обозвать?

— Конечно. Значит — дождёшься. Я — дождусь. А сейчас?.. Сразу?.. Прости. Я вся спутана своей теперешней жизнью, её причинами-следствиями. Можно взять — всё порвать одним махом. Это больно будет. Для меня — ладно. Для мужа — несправедливо, но ладно. Для сына... Сейчас — никак. Я постепенно себя распутая, освобожусь от причин.

— Или увязнешь в них ещё глубже.

Он стоит под суматошной морской картиной. Не подходит. Я сама приближаюсь к нему. На душе у меня так же бедламно, как на этом казенном холстике в рамке из деревянной бронзы. Его лицо прочно и строго. Жёсткая щетина подбородка, присыпавшая ямочку — такую уютную... Тёмная прядь надо лбом с мельками седины. А глаза — изменились. Глаза как-то утеряти свою дегтярную проломную мощь, посветлели, разбавясь чуточной осторожной тоской.

Я провожу ладонью по его волосам. Целую в колкую щеку.

— Знаешь. Знай. Я — вот она. Я счастлива.

Здесь. Сейчас. Понял? Я хочу быть счастливой. Ты виноват. Мне понравилось быть счастливой. Я этого никогда ... до тебя... Я — женщина. Я ещё не старая. Я хочу успеть. Подождёшь меня, да?

Его глаза часто моргают, это ему не идёт, это делает его почти беззащитным.

— Я быстренько всё распутаю. Определимся с мужем. Теперь у нас с ним никак уже не получится. После тебя. Немножечко подрастёт сын, он поймёт, я ему всё расскажу. Он у меня очень... очень хороший. И потом, когда всё сделается — я тебе сообщу, адрес же твой у меня, ты же сам вписал его мне в блокнот и обвёл торжественной фиолетовой рамкой... я сразу тебе сообщу, я телеграмму тебе дам... я до тебя докрикну — услышишь, совсем ведь недалеко — какой-то, лишь, маленький океан. Всего одно слово: «Свободна!». Ты услышишь и прилетишь сюда. Или я прилечу туда. Чтобы поправить мою свободу. Свободу надо поправлять, достраивать, мастерить из неё счастье. Обязательно. Пока можно.

— А когда нельзя? — его спохватившиеся зрачки сближаются с моими.

— Только в одном случае нельзя, — улыбаюсь я, вныривая в прохладные дегтярные наважденья. — Когда уже нет человека. Нету... и ничего не попишешь. Свободен непоправимо. Непоправимо. Но это не наш случай с тобою.

Немножко терпенья...

Мерный пролёт маятника, вернувшегося с дальнего рубежа амплитуды. Его прямизна сметает с глаз долой яркую отчётливую неявь, оставляя взамен пустые хлопья утлой действительности. Хлопья тают, высвобождая звуки, затем цвета, линии....

— Девочка! Де-воч-ка! В чём дело? Глазки открыла, головку подняла... вот так... видишь меня? Эй, видишь меня? Умница. Что, поплохело, солнышко напекло? А на вид, вроде, крепкая девочка. Ну-ка давай, приходи в себя. В обмороки нам ещё рано падать.

Я удивлённо выпрямляюсь на скамейке. Рядом женщина. Трогает мой лоб ладонью, хозяйски берёт мою руку, считает пульс. Острое, внимательное лицо, тёмные глаза, тонкие, подведённые веки. Просторный лоб с интеллигентными морщинками. Костяной, слишком правильный нос. Великобританская премьерша Маргарет Тэтчер в отставно-почтенном возрасте. Или — весьма около.

— Это не обморок, — неуверенно говорю я.

Премьерский нос ещё раз втягивает близ меня воздух, убеждаясь, что я не накуренная и не пьяная. А ну как, даже и беременная, но обоняньем это трудновато определить.

— Что-то вдруг... не знаю...

Отключилась... — не объяснять же ей где и кем я только что побывала.

— Поди к врачам, проверься. Раньше случалось такое?

— Никогда, — отцеживаю я ей пресной улыбочки. — Всё в полном порядке. Спасибо, не беспокойтесь.

— Забеспокоишься тут, — вздыхает «околоТэтчер». — День неблагоприятный. Половины не минуло — а печаль. Богу душу отдал человек. Бедная Света Васильевна! Вчера встречались, здоровствовались... И — нате вам!

— Это!.. — встрепыхиваюсь я, — это, которая здесь, на скамейке, недавно? Я всё видела. Скорая её увезла.

— Слишком поздно.

— А вас же тут, кажется... Откуда же вы?..

— От людей, откуда. Плохие вести быстро бегут.

— Вы знали её, да? Вы её хорошо знали?

— Хорошо — нехорошо... Столько лет — в одном доме, в одном подъезде, — «околоТэтчер» машет рукой вдоль аллеи: за сквером, за зеленью, белеет угол многоэтажки.

— Ой! — ёрзаю я на скамейке. — Как удачно, что я вас... Расскажите о ней, пожалуйста. А? Мне очень нужно.

— Тебе? Зачем? Ты с ней знакома?

— 3-знакома. Да, знакома... конечно. Она здесь, на моих глазах... умерла.

«ОколоТэтчер» подозрительно-участливо оглядывает меня. Я ещё больше волнуюсь, торопливо вру.

— Я её знала... давно. Несколько лет назад. Долго не виделись. Как она живёт... жила? С мужем и сыном, да? Сын — уже взрослый, конечно, должно быть...

Женщина продолжает обзирать меня в размыслии, стоит ли откровенничать с незнакомой нервной особой, только что очухавшейся от странного обморока.

— Мужа похоронила она прошлой осенью.

— От чего?

— Досталось ей с ним. Одно время — пил. Недолго, правда. Потом сплошные болезни: что-то с печенью, что-то с желудком. Операция за операцией, из больницы в больницу. Годы. Для неё самой это даром не прошло. У самой инфаркт случился.

— Да вы что! — с трудом выдыхаю я.

— Обошлось, слава Богу. И благо для Светы Васильевны, что с мужем, наконец, всё... кончилось. Наверное, и для него самого благо. Чем так жить- мытариться, лучше вовсе...

— А потом?

— А потом? Потом она как-то даже

понемножку преобразилась вся.

Посвежела, похорошела. Начала следить за собой, делать причёски, одеваться стала недурно, со вкусом. Светская леди — ни дать ни взять, — «околоТэтчер» слегка морщит верхнюю губу, приподнимая совершенные ноздри: неодобреньице изложенным метаморфозом?.. проскок мелкобабской завистюхи?

— К чему-то готовилась, да? — вкрадчиво подсказываю я.

— А ты почём знаешь? Готовилась. Я как-то на днях, при встрече, в шутку ей: «Ох, Света Васильевна, не понапрасну, видать, расцветаешь. Есть, стало быть, где-то садовник, признавайся, как на духу. Она улыбнулась. Хорошо, светло улыбнулась, умеет она. — Есть, — говорит. — Далековато, правда. Есть. Только — до годика подождать. Раньше годика — нельзя, неправильно».

Я молча сглатываю в горле едкий комок.

«ОколоТэтчер» тоже проникается. В строгих глазах признаки влаги.

— Немножко не дождалась... до годика. Душевная женщина. Жаль.

— Спасибо вам большое! — я наклоняюсь, неожиданно для неё и себя целую её в щёку, чуть пахнущую тонкой пудрой, решительно поднимаюсь со скамейки.

— Скажите, пожалуйста, какая её квартира?

— Двенадцатая... — она смотрит на меня снизу вверх, в глазах её — новое, непробованное удивление, грустный наив. — А моя — двадцать пятая. Может, когда зайдёшь и ко мне? Я буду рада. Что-то такое в тебе есть, девочка. Что-то такое...

Парню на вид — около двадцати. Коричневая тенниска на литых плечах. Серьга в ухе — чей-то большой, до блеска шлифованный зуб. Стриженная тёмная щётка волос. Нос — невелик, скруглён-спрошен. Не материн. Глаза — материны. Стоп! Я ведь не видела её глаз; тогда, в сквере — они были закрыты, они не открылись уже! Не видела? Я даже примерила их. Я умудрилась на мир посмотреть её глазами.

К парню сзади, из коридора, приплыла и прилипла яркая медновласая особа, хозяйски раскинула руку на его плече. Так они стояли, заняв весь дверной проём и разглядывая меня.

— Да, — пасмурно отвечает парень, — Светлана Васильевна. Да, сорок дней было позавчера. Конечно, царствие... да, разумеется, замечательная... была. Вы её знали?

— Узнала.

— Когда? — тускло удивляется парень.

— Недавно. Совсем...

Не объяснять же, что — после смерти.

Медновласка уже произмерила меня

кошачьим взглядом, на предмет сравнения с собой, и небрежной улыбочкой утвердила бесспорное «Куд-да те!».

— У меня к вам небольшой разговор.

— Заходите. Не на пороге ж... — парень подвигается назад и подвигает подругу.

Медновласка очень некстати. При ней у меня вряд ли получится. Я неуютно вздыхаю.

— Прошу прощения, — обращаюсь не к нему, а к ней. — Может быть это... не очень правильно, не очень вовремя. Мне бы хотелось, всё-таки... насчёт Светланы Васильевны... дело такое, щепетильное... весьма щепетильное...

— Ну, если надо, — парень оборачивается к подруге. — Побудь, Ля. Хорошо? Всё путём. Я — скоро.

Мы спускаемся с ним по лестнице, выходим из подъезда. Скамейки заняты внимательной старушнёй. Мы направляемся к детской площадке, на которой никого нет.

— Как тебя зовут?

— Нат.

— А я — Олег.

— Да, знаю.

— Знаешь?

«Аккуратней давай! — мысленно одёргиваю себя. — Без глупостей. Не поверит».

— Ваша мама, Светлана Васильевна... —

никак не могу подступиться. — Она... замечательная женщина.

— Ты уже говорила. Я тоже так думаю, — слишком серьёзны, настороженны его глаза. «Ждет и догадывается о чём скажу? Опасается услышать не то?»».

— Только не спрашивай, откуда я это узнала, ладно? Мне врать неохота. Считаю, что она просто попросила меня тебе передать... перед своей... там, в сквере.

— Ну? Передавай уже... — слегка нервничает Олег.

— Твоя мама, Светлана Васильевна, — постным конторским голосом начинаю я, — любила одного человека. Много лет. Она надеялась связать с ним свою жизнь. Очень надеялась! Она тебе рассказывала об этом?

— Допустим.

— Когда?

— Не так давно, — неохотно отвечает Олег. — Общие слова, без конкретики.

— Общие слова!.. Первая попытка, понял? Она бы обязательно всё рассказала.

С «конкретикой». Обязательно. Если б... Если б ты знал! Если б представить ты мог, как она любила его! — вновь не удерживаюсь я от рискованных восклицаний, вновь мой голос неровен и подозрительно звенящ. Спыхватываюсь, пытаюсь

уйти в казённый тон — малоуспешно. — Он русский, живёт в Канаде, в Торонто. Он тоже любит её и ждёт. Ждёт. Наверняка, не знет, что Светланы Васильевны — уже нет. Или?.. — вопросительно вглядываюсь в Олега.

— Не знает, — лицо Олега напрягается, бледнеет от разбереженной скорбной тоски. — С мамой всё... так вдруг оглушительно... невозможно! За что ей такое?

— Несправедливо! — всхлипываю я.

— Она последнее время... как-то воспрянула духом. По-другому стала выглядеть — улыбчивей, красивее. С сердцем, вроде, пошло на поправку. Оказалось — не пошло.

— Она готовилась к новой счастливой жизни. Которую заслужила.

— Почему она не говорила мне ничего раньше? Столько лет...

— Не считала вправе доставлять лишние страдания, даже просто переживания своим близким. Только — себе.

— Но я-то давно уже взрослый! Понятливый.

— Она была не свободна душой. Она почувствовала свободу... своё право на свободу, на счастье, только недавно, после... ну, ты знаешь когда.

Олег мрачно кивает.

— И всё-таки, я должен был узнать это

раньше. От неё.

— Наверное.

— А я узнаю от тебя. Почему от тебя-то? Ты-то откуда?..

— Спокойно, спокойно! — повышаю я голос. — Мы договорились, пока — без вопросов.

— Темнишь ты.

— Не темню. Не в этом суть. Суть в том, что... оборвалось всё, в один миг, так жестоко!.. для Светланы Васильевны.

— Жестоко. И ничего уже не поправить.

— Надо этому человеку — его Львом зовут — сообщить.

— Куда?

— В блокноте Светланы Васильевны... Фирменный, красивый блокнотик с Петербургской конференции. На обложке — Ростральные колонны, Нева. Видел такой?

— Ну видел!

— Там, в блокноте — канадский адрес. В фиолетовой рамке. На английском. Лев Коплев. Ричмонд стрит... Торонто... ну и прочее.

Олег смотрит на меня, как на опасное приведение.

— Пошлешь телеграмму? — сердито спрашиваю я.

— П-пошлю, — зачарованно кивает он.

— Покороче. Попроще: так, мол и так, моя

мама, Светлана...

— Пошлю-пошлю. Обязательно, Слушай, Нат...Ты...

— Что, я? Кстати, можешь написать всего два слова — он поймёт. Два слова. «Свободна. Непоправимо». По-английски или по-русски. Он поймёт.

— Нат!

— Чего?

— Ты что, уходишь уже?

— Ухожу.

— Нат! А может?..

— Не может.

— Почему?

— Потому.

— Я... таких, как ты... Ты, вообще — кто?

— Не знаю. Когда узнаю — скажу.

ВЕНЧИК

1

Полуденная электричка — членистый плоскоглазый гремучий змей — захлопнул свои дверные прорехи, низко взвыл на прощанье и ринулся вперёд.

Они, вместе с необильным приехавшим

людом, спустились на оттопанную тропину в выкошенной траве — вкуснейшее пахло свежим покосом — некоторое время шли вдоль насыпи. Потом тропа взяла влево, слилась с ещё двумя тропками-близнецами и втроем они впали в белую гравийную дорогу, ведущую в посёлок. Люд пошёл по дороге. Они остановились. Им не нужно было в посёлок.

— Ну что же ты? — насмешливо спросила Нат. — Веди.

Венчик в сомненьи покусал губу.

— Всё-таки, надо спросить. Вон мужик косит. Я щас.

Он побежал назад, к худому высокому человеку около железнодорожной насыпи. Человек был гол до пояса, коряв, лыс, рукаст и приделан к косе так ловко, что издали виделся с ней едино-целым — большой танцующий богомол с отвихнутой книзу передней конечностью. Услышав вопрос, он медленно выпрямился, поднял косу, без спеха обыскал глазами Венчика, повернул голову к Нат, отёр ладонью кирпичный затылок, протяжно посмотрел в небо, похоже, испрашивая у Всевышнего добро на ответ, и только потом махнул рукой в противоположную сторону, за насыпь.

Они двинулись вспять по тропе. Поравнявшись с косцом-«богомол», Нат кивнула ему приветственно-спасибо и кратенько

улыбнулась. Он оставался в прежней позе глуповатого медленного вниманья, слишком впрямик, по-деревенски, разглядывал их, проходящих, что-то себе соображал. Они уже поднялись на насыпь, когда их достиг фанерный голос.

— А-о! Ребята! — «богомол» оставил своё грозное оружие и шагал к ним, широко, с плоскостопной раскачкой, но как-то вязко, не очень уверенно.

— Слуште, ребята, вы-ы... Чо я хотел... Эта-а... — видимо, ему самому слегка невдомёк было, чего он хотел, он трудно, скрипуче додумывал о том. — Вы, стало быть... ум-м... на Скол собралися?

Вопросец. Будто бы не он только что показывал им туда дорогу.

— Стало быть, — без нежности ответил Венчик.

— Ну-ну, дэ-а... — смутно реагировал косец. — Место, конеш... Оно... поглядеть, чо?.. отдохнуть. Аль вы по делу како?.. я извиняюсь.

— Не-а. Поглядеть, чо?.. отдохнуть, — поддразнил его Венчик.

— Дэ-а... ум-м... вы впервой, небось? Из города, стало быть? А и ктой-то вам насоветовал? Местов везде всяко-разных для отдыхов! Поближе да покрасивше гораздо. А на Сколе-то... Яма — и

яма оно.

— Вы, дядечка, местный, видать, — с карамельной дружбой улыбнулась ему Нат. — Сами бывали там? Вниз спускались?

— Ум-м...

— А можно вас спросить? Там что-то есть внизу особенное, да? Необычное. Что-то действующее на людей? Может, заметили?

— Че-во?! — настороженно нагнул голову «богомол», сузил маленькие сырые глазки, — Ты это откуда так?..

— Говорят.

— А? Говорят?! Врут, кто во что... ухи развешивайте, — древоголос «богомола» вдруг сделался сварлив, резковат, до враждебья резковат. — Ни хрена там нету, не было никогда. Ишь, навздумали! Осо-обенное! Брехать все мастера, языки от шибче помел. А? Об чём... есть там особенное, а то как же, есть... от ежли полезете да на край, да сорвётесь с высоты, по камням — от уж будет вам особенное. И чо прутся, чо ездют, почём зря? Моду взяли. Свербит в жо... Местов других не найдут для бездельев!

Раздраженье «богомола» было вздорно, непонятно. Он что, догнал их для этого? Это ж не его огород, в конце концов. Все имеют право. Взгляд Венчика ядовито утончился. Но Нат повела себя по-женски мудро.

— Ой, дядечка, мы же только посмотрим! Издалека. Мы же и спускаться не будем. Ой, как же вы так о нас!.. Мы же хорошие, воспитанные, разве ж по нам не видно? Что же вы так, дядечка!

Голос её был выслан нежно-дурачковатым плюшем, мягонькой укоризной, с какой обращаются лишь к карапузных лет детям.

«Богомол» скомкался, захлопал выгоревшими ресницами.

— Да чего, я ж понима... мало ли, осторожность, она... ум-м... место приятное, ступайте, поглядите, ребятки, понравится. Тока... спускаться не надо бы, а? Яма как есть. Обакнавенно...

Он талым взглядом безбородого гнома-переростка обтёк Нат, недоподняв всё же глаза до её глаз, затоптался на месте, оглянулся на свою оставленную косу, нерешительно поскрёб кадыкаскатую шею.

— Может быть и-и проводить бы вас...

Это была совсем уже слякоть.

— От, недосуг, а... да вы... ничего, близко — через насыпь, дорога одна... вдоль карьера, карьер слева оставьте, забор тама из сетки, старый забор, а за забором — карьер... белую глину специальную добывали... да вышла вся, а вам не надо в карьер, вы направо идите. За взгорок... не заблудитесь. Здоровы бывайте. Прощенья... коли что ...ум-м...

ото, поглядите, дело молодое, резвое, а как же, отчего ж не сходить-то...

Последние слова он, не в силах остановиться, доборматывал им вслед. Они поднялись наверх, смахнули ему оттуда беглое «пока»... и исчезли за насыпью. «Богомол» постоял в раздумье и огорченно, как-то неприкаянно, побрёл к своей работе.

2

Такого яркого, такого расторопного мая давно не случалось. Он сполна потрудился за себя и за ещё не распечатанный июнь: выгнал в доколенный рост траву, оплодотворил цветеньем, затопил пышным зелёным благом сады и леса, прогрел воду в реках-озёрах. Не позволяя ни великой, ни малой живности лениться и не в полную силу простирает далее род свой.

А причудливый фрагментик планеты, именуемый именем Скол, был бесспорно не худшей частью творящейся поздней весны.

Скол в действительности и был сколом.

Невесть когда, незнаемо отчего он возник. Каким-то суровым планетоутробным катаклизмом необъятный пласт земли обрушился вниз, среди пологих зелёных взгорков и мягких ложбин возникла впадина, протяженьем в несколько

километров, уходящая к горизонту. Берега её постепенно размылись и оползли. Буграстое дно поросло клоками беспутного мелколесья.

Она стала походить просто на гигантскую овражную балку. Но ближняя, самая глубокая её часть так и осталась впадиной, провалом, деяньем давних земных стихий. Этот берег не осыпался и не размылся по причине скальных базальтов и известняков, обнажившихся под почвой. Базальты были видны на обрыве берега слоями разных оттенков и разной толщи. На прямом солнце серый камень тускло поблёскивал крапинами кварца. Далеко не всегда, значит, покоились здесь безобидные травянистые холмики. Был срок — возможно, горные утёсы-монстры вздымались к древнему небу. Этот крутой, жёсткий берег и назывался Сколом.

Он был самый восподнятой площадкой окреста, и вид с него открывался замечательный.

Внизу, среди разнокаменных отломков, виднелись группы нестройных деревьев и редкий кустарник. Далее — камней становилось меньше, кустов-деревьев больше; на всём остальном продолженьи впадины царила густая, зелёно-бурая неразбериха.

Вздорно красив был этот застывший изъян ландшафта, красив нарочитым несовершенством, перечащим плавно-пологой логике окрестной

равнины.

— Ну как? — довольный, спросил Венчик.

Нат молча, с напряжением всматривалась вниз-вдаль с обрыва.

— Производит?

— Шикарно. Подозрительно.

— Ты о чём?

Нат глянула на него, опять повернулась к обрыву.

— Что-то, наверное, здесь не так просто. Он был прав.

— Кто?

— С косой. Тот. Чего он нервничал, а?

— Тот сырокопчёный абориген? С головой у него проблемки.

— Он хотел нас отговорить. Да не решился.

— От чего?

— Не знаю.

— Я — человек конкретный. И внимательный. И Макс человек внимательный. Мы ничего здесь не заметили такого. И сейчас ничего я не чувствую.

— Я — чувствую.

— У тебя — другие нервы, другая фантазия. У поэтесс — всё особенное.

Нат поморщилась.

— «Поэтесс». Вертявое, неприятное слово. Не говори так. Не люблю.

— Раз, пишешь такие стихи... А как

говорить?

— Никак. А вы с Максом зачем сюда приезжали?

— Элементарно. Чем больше нельзя — тем сильнее надо.

— Не поняла.

— Дядька Семён... — мне он дядька, а Макс у он, реально, папик — поведал двум пытливым отпрыскам о том занятном случае с раскопками и с пропажей человека. И имел неосторожность призвать к благоразумью. В смысле, чтобы не вздумали ненароком поехать на Скол и полезть под этот самый обрыв. Неважный психолог дядьСэм, надо отметить. С благоразумьем у нас полный «о-кей», потому на следующий день мы погнали обкатывать новый Максов мотоцикл и свежеполученные права напрямик сюда.

— Были внизу? — с уваженьем спросила Нат.

— Само собой.

— Ну и?

Венчик пожал плечами, рассеяно глядя вниз.

— Яма, как яма. Камни, кусты, кривые деревья. Почему-то они здесь, под обрывом, почти все кривые — мешает им что-то расти прямо. Деревянная халабуда. Пустая, брошенная. Мы там долго лазили, всё обсмотрели, общупали. Ничего интересного. И сегодня ничего не найдём. Совсем не обязательно было ехать в такую даль.

— Ещё как обязательно! Давай спускаться уже.

— Не вопрос. Вон там, дальше, есть подходящее место. Проверено.

Они прошли от обрыва по берегу метров триста. Здесь склон был ещё крут, но уже более землист, почти без каменных кочек, поросший травой; наискось по нему можно было спуститься.

Венчик, как и надлежно мужчине, пробирался первым, короткими цепкими шажками. Он шел левым плечом вперёд, отдав ей правую руку. Нат держалась за крепкую уверенную ладонь, охотно предоставив ей ответ за себя и, освободившись от за себя ответа, она с девчоночьим подзабытым удовольствием играла ойкающую неловкую трусику. Босоножки её с гладкой кожаной подошвой, легкомысленно обутые вместо кроссовок, то и дело оскальзывались; уже в конце спуска, потеряв равновесие, с сочным взвизгом ужаса-восторга, она наехала на Венчика, сбила его с ног, провезла с собой по травянистому склону.

Он поднялся первым, наклонился над ней, лежащей. В глазах — очаровательно-ответственная тревога.

— Ты как? Не ушиблась?

— Извини. Я не хотела...

— Всё нормально, — протянул ей руку, помог подняться. — Мы уже внизу.

Привели себя в порядок, двинулись дальше: она ступала осторожно, опасаясь наколоть голые пальцы колючками в траве, доверчиво держась за его подлокоть; он, сияя нестерпимым мужеством, подстраивался под её шаг.

Края неба съелись поднявшимися берегами впадины, оно стало ниже и плосче, поцветнело от лазури до светло- синевы. Звуки тоже сделались чуть другими: шелесты листьев, насекомые зуды, птичьи клики, отплескиваясь от берегов, эхово усиливались, густели, меняли тон.

Нат сбоку взглядывала на своего спутника. Встрёпанные ветерком, спадающие на лоб соломенные вихры; упрямая твердь подбородка с ещё несерьёзной щетинкой; рельефные губы внимательны, беспокойны.

Она украдкой улыбнулась. Могучий, надёжный защитник у неё — ничего не скажешь. «Венчик. Венчик.

Венька-дребеденька». «Кабальеро!».

Ох, что-то эта игра никак не закончится! Пора бы. Третий месяц. Уже третий месяц. Игра?

Он изменился. Изо всех сил взрослеет. Голос ломает в басышко. Галантен стал до умопомрачения. Без цветов на свиданье — ни-ни. Обидчив. Ревни-ив! Муж-Чи-На. Мужчинка. Смешной, наивный пацан... Да? В том-то и дело. В том то и... Уже не смешной. Не наивный. Уже,

похоже, и не пацан. Шестнадцать ещё нет — конечно, пацан! Для всех. Для неё?..

Эта игра-сказка заходит далековато. Слишком легко им уже молчитя вдвоём, слишком. Её двадцать один перестают быть для него стеной. Ужасно! Сладко и ужасно, что и для неё уже... кажется, тоже. Это оттуда всё? Март... Ну а конец игры? Когда? Кто? Из двоих из них кто решится? Положено, конечно же, ей... И пора. И надо. Надо? Уже третий месяц...

3

Март. Изувеченный мартом снег под деревьями. На аллее — снего-грязевое пюре, жухлая лиственная шваль. Парк ожидадно пуст, прекрасно уродлив, восхитительно нищ благодаря снего-грязи, холодной мороси, тёмному нежитью деревьев.

И прозрачное, и сырое, и утлое, как этот парк, пожеланное себе одиночество, и аховая пустошь собственной души, и садистское удовольствие от вдруг понятой своей незначности, и невозможности ничего собою означить, и непотребности в лучшем ни в чём. Чёрно-бело. Горько-сладко. Плохо-хорошо... Её аллея. Её безвременное время. Её надобная тоска. Её стихи. Вслух. Громко. Себе. Охотные слёзы в глазах.

Получай!..

*Трамвайно-троллейбусный гном,
Кирпично-бетонная фея,
Совсем не о том я жалею.
Вы правы. Совсем не о том.
Не те б мне печали, не те б...
Но слёзы неверны и пошлы.
Простите за это. А после
В асфальтовой книге судеб,
Где числюсь я строчкой одной,
Одно только слово исправьте.
Ни Бога, ни дьявола ради,
Меня замените не мной.
Той, давней, красивой и наглой,
Из стёкол зеркальных врагинею,
Из стаи каналов-сомнамбул,
Не вмятой в сомненья благие.
Той, клятой вороньим накарком.
Но в мир из усмешечки целясь
Под словом бровей Клеопатры:
— А ну-кась, который тут Цезарь?
«А ну-кась!..». Хлыст-зависть — по мозгу.
Той мне, вдрызг со мною не схожей,
Судьбы моей киньте обноску,
Пускай проживёт, коли сможет.
Примерь-ка счастливую кару,
Ступя из зеркальных пространствий!*

*Не эту ль ты долю искала?
Неужто не хочешь? Напр-а-асно!..*

Ноги в сырых туфлях зазябли — хорошо! Плащ отяжелел от мороси и не задерживал колкий гриппозный холод — так и надо! Мимо больших, бледных, в сыпи налипших листьев скамей, по всхлипывающей под ногами снего-грязи — разумному, жидкому, хищному, существу. Небо напивалось дождистыми сумерками, равнодушно свисало в вершин гиблых тополей, обещая всемирную потопную нелюбовь — и ладно! Никого прежде. Никого потом. Никого внутри. Никого снаружи Пу-усть!..

*Да полно! Вовек не отдернуть
Меж нас занавеску стекла.
И быть мне такой, как была,
В нелепицах белого с чёрным.
И мерить чужие долги...
Прости! Мы, ведь, сестры с тобою.
Пред зеркалом — льдиной любви —
Хоть взглядом своим не солги!
Скажи мне, уверь меня в том, что
Я — отблеск светла твоего.
Но луч наш всё тоньше и тоньше.
Вздох, миг — и не будет его.
Без выпретенных слёз укоризны*

*Смириться, принять мне суметь,
Что жизнь моя — менее жизни.
И чуточку больше, чем смерть.*

Снаружи, как выяснилось, кое-кто всё-таки имелся. Она споткнулась взглядом о два зрачка меж брусьями скамеечной спинки, растерянно умолкла, не придумав, как поступить: испугаться до конца, до малодушного, но благоразумного поворота назад («Конечно, а что у него на уме? С хорошими намерениями не прячутся за скамейкой.»), окатить презрением подсмотрщика, прикинуться ничего не заметившей и спокойно пройти мимо. («Странно, как очутился он здесь, этот тип, аллея ведь была пуста»).

— О, оказывается, у меня и зрители есть, — изо всех сил твёрдым и даже чуть-чуть смелым голосом сказала она. — Очень приятно. Но что-то не слышу аплодисментов.

Зрачки настороженно молчали. За брусчатой скамьёй просмотрелась, небольшая невзрослая фигура.

— Может, всё же предьявитесь, загадочный ценитель поэзии? — храбрея от неответа и невеликости притаившегося, напирала она. — Может, вам автограф дать? На моём собрании сочинений в тридцати томах. Спешите!

Фигура выпрямилась, из-за скамьи возник

мальчишка-подросток. Одет очень прилично, даже с шиком: плотная джинсовая куртка-«варёнка», белый с синей отторочкой шарф поверх ворота — умело, небрежно, в два оборота с провисом. Светлые волосы в изящном бедламе.

«Та-ак. Вот оно какое... Незванненький зритель. Шкет...».

— Прошу прощения, монсеньор, — побольше издёвочки: единственное сколько-нибудь надёжное прикрытие задетому самолюбию. — Не находите ли вы, что на авторский поэтический вечер в узком кругу требуется некоторое приглашение? Не припоминаю, чтобы ваше благородное имя стояло в списке приглашённых. И кроме того, монсеньор...

Нат запнулась. Пацан молчал, глядя на неё глазами настезь. Пацан молчал, и в глазах его сияло восхищение. Стихами? Ею?..

Они возвращались домой поздно вечером. Он уже много нарасказал ей. Как по парку перемеривал шагами, зубами перескрипывал, перешмыгивал носом, передумывал со злой, но уже привычной тяжестью, очередной домашний скандал в девять баллов меж отцом и матерью.

— Было б из-за чего! Было б для чего! Не понимаю, хоть тресни. То, вроде, всё, как у людей, чинно-благородно. Знаки внимания друг другу оказывают. Даже иногда целуются-милуются от меня втихаря. А то — оба, будто с цепи... Нервы?

Может, оттяжка такая у них? Ведь никогда ничего серьёзного... На абсолютнейшей ерунде сшибаются. И — «гав-гав-гав» с перегавом на весь день, а то и другой прихватывают. Уму непостижимо! Столько лет! На фига? Или жили бы нормально — или уже разбегались бы в разные стороны. Мне большое счастье — любоваться этими истериками.

Как мстительно размышлял, куда бы ему взять — исчезнуть. Не навсегда, конечно, дней на несколько, чтоб не знали, где он.

— А подёргались бы, посуетились, авось нервишки свои и подтянут. В принципе, можно на вокзале, на скамеечке, ночью перекантоваться. А на еду бабки есть.

Как увидел в конце аллеи странную, громко с собой разговаривающую девушку, как, не зная с какой стати, внезапным бесиком в ребро, прокрался за деревьями, за скамьями поближе. Как слушал и всё насквозь понимал. Так понимал!..

Она уже уговорила его вернуться домой, и он согласился в обмен на их встречу завтра.

Невдалеке от её дома на них набросился мозглый мельчайший дождь. Нат окончательно продрогла, а Венчик (Венчик-Веник, Венька-дребеденька) смешно и благородно норовил стащить с себя куртку, чтобы укрыть даму.

Почти приказом она отправила его домой,

чинно пожала мокрую ладошку. Уходя, он обернулся.

— Почему тебя зовут Нат? Не Наташа, не Натали'...

— Не знаю, — удивилась она.

— Классно это! — крикнул он, пропадая в дождевой пелене. — Мне нравится. Мне в тебе всё нравится— прикинь!

4

Они обошли стороной, по сырой ложбинке ручейка, негустую заросль клёнов и лип. Деревья стояли, держась друг за друга ветвями, словно в опасливом насторожье. Они не зря столпились в одну компанию, ища друг в друге поддержки и защиты.

Опасаться им, кажется, было чего.

Какая-то непонятная, недобрая к ним сила хозяйничала здесь: стволы многих деревьев были покривлены, подогнуты книзу, раздвоены и даже растроены от корней, покрыты оплывшими наростами и бурыми пятнами, словно следами заросших ран. От какой-то напасти листва их сделалась более мелкой и тусклой, чем у их собратьев наверху или дальше по впадине. Немало веток высохло, грустно торчали их бурые кости-остовы.

Этим лиственным горемыкам, очевидно, не повезло, они ближе всех оказались перед обрывом.

Переступая через небольшие, торчащие из земли каменные отломки, Венчик и Нат подошли к живописно корявой стене обрыва. Здесь застыли в вечном покое несколько серых тяжёлых глыб. По-видимому, все они в разные времена (а может быть — одновременно) откололись от скалы и рухнули вниз. Камни успели погрузнуть в землю, покрыться с теневых сторон узорчатыми заплатами мха, слегка выщербиться с макушек от летнего солнца и зимнего льда.

Метрах в тридцати, под обрывом, виднелось какое-то неказистое досчатое сооружение — старый сарай с двумя окошками, с крышей из грязно-бурого шифера.

— Та самая халабуда, — кивнул в его сторону Венчик.

Меж двумя валунами была неглубокая яма овальной формы; по краям — ровная насыпь вынутого грунта, из которого уже прорастали упрямые травинки.

— Вот тут раскопки велись.

— Похоже, не так давно.

— Где-то с месяц тому.

— Странно, а почему именно здесь, внизу? — удивилась Нат.

— ДядьСэм рассказывал — случайно вышло.

Какие-то туристы, романтики свихнутые, типа нас с тобой, сюда забрели. Развели костёр, а для котелка у них были прутья железные, приличной длины. Стали забивать в землю — один прут во что-то упёрся.

Не поленились, раскопали, а там шлем, очень древний, да ещё с серебряными узорами. Отнесли в музей дядьСэму.

— Он в музее работает?

— Зав феодализмом. Отделом, в смысле. Шлем оказался монгольский. Четырнадцатый век. Судя по серебру, не с простого монгола, а с какого-то богатого командира. Ну, конечно, приехали из музея солидные люди, стали копать.

— Ещё что-нибудь нашли?

— А то. Шлемы, сабли, наконечники копий. Всё очень ржавое, конечно. Но...

— Как оно вообще смогло долежать в земле, не рассыпаться? Столько веков.

— Здесь, под обрывом, земля песчаная, каменистая. Воду не держит. Поэтому и долежало. Всё оружие — монгольское. Русского ничего нет. Кстати, и кости и черепа нашли. Ихние.

— Интересно, — Нат прыгнула в яму, походила там, разглядывая серый, крошистый, прибитый дождями и успевший опять высохнуть грунт. — Очень интересно. А что происходило здесь дядьСэм знает?

— Какой-то монгольский отряд. Возможно, из войска хана Тохтамыша. Тот, что Москву захватил и поджёг. Это было уже после Куликовской битвы.

— Да, я читала.

— Наверху, около обрыва, был маленький бой. На отряд монголов напал русский отряд. Причём, врасплох напал. Может быть, ночью подкрались. Монголов перебили и сбросили вниз, со всем ихним оружием.

Так было — не так было — точно уже никто не скажет. История тёмная. Но главное — не это. Кому они, кроме дядьСэма, нужны сейчас, дохлые монголы и их ржавые сабли. Главное, что во время раскопок исчез человек. Не просто человек — руководитель группы. Нехилый факт, да? Из всего понарасказанного дядьСэмом нас с Максом только это зацепило. Мы и поехали.

— Ну?

— Что, ну?

— Расскажи, как исчез.

— Так я тебе, вроде уже...

— То — в трёх словах. Ты подробней расскажи.

Она протянула ему снизу руку, Венчик охотно помог ей выбраться из ямы. Опять задержал в своих ладонях её ладонь, и она не торопилась её убрать.

— Особых подробностей не знаю. То, что от дядьСэма... Короче, натурально исчез человек.

Средь бела дня. Видели, как он зашёл в халабуду, а назад не выходит. Несколько человек видели, не могли ошибиться. Пошли выяснять — а халабуда пуста. И никуда он деться не мог, никаких дыр в стенах, никаких подкопов в земле. Просто, взял — растворился.

— А раньше туда кто-нибудь заходил?

— Да сто раз заходили и другие, и он сам. Она у них типа склада была. Переодевались там, инструменты держали. Обыкновенная развалюха. А тут вдруг раз — и нету человека.

— Он один заходил?

— Вроде, один.

— А потом? — отрывисто спросила Нат. Она шла впереди Венчика, упругими, осторожными шагами приближаясь к деревянной постройке.

— Начали искать вокруг, звать, кричать. Сообщили в музей, приехали ещё люди, прочесали все окрестности — никаких следов. Подключили уже милицию. Оперативники прибыли, стали разбираться. Опросили всех свидетелей, всех его родных и друзей. Три дня разбирались. На четвёртый — он появился. Сам пришел в музей, потом к оперативникам. Но ничего объяснить не мог. Или не захотел. Мол, не помнит ничего — и баста. Где был, что делал — полный провал в памяти. Закрыли это дело. Направили его к психиатрам. Но те ничего такого не нашли. Вот и

вся история.

Они остановились перед ветхим досчатым сооружением. Кому, в какие неблизкие времена пришла в голову мысль, построить его здесь? Для какой цели? На жильё оно совсем не походило, просто большой сарай. Но сараи строятся рядом с жильём, а здесь в обозримых окрестностях ничего подобного не было. И какой экстравагантный отшельник мог облюбовать, даже для временного убежища, дно этой старой впадины с увечными испуганными деревьями, колючим кустарником, с разбросанными повсюду булыгами, в неудобной, небезопасной близи от каменистого обрыва. Да ко всему прочему — в зловещем соседстве с костями убитых давным-давно свирепых азиатов. Энергетика здесь — отменно минусовая: букет из явных геологических аномалий с сугубо человеческим древне-кровавым негативом.

Надо быть очень уж невосприимчивым к внешним намёкам-обстоятельствам, чтобы найти резон проводить здесь своё время.

Вопросы здоровой архитектуры и эстетики так же мало занимали безвестного строителя халабуды.

Двускатная крыша была покрыта старым крупно-волнистым шифером в болотных пятнах. Листы прижимались друг к другу неплотно, на выступающих краях — отколы и трещины. Стены обшиты некрашеными досками, бросовым

горбылём. Снизу, поверх досок (видимо, успевших подгнить), набиты фанерные, покоробленные от дождей щиты и куски кровельной жести.

Два маленьких окошка под самой крышей — рамы грубо сколочены из брусков; тусклые стёкла прижаты загнутыми ржавыми гвоздями.

Досчатая дверь заперта лишь на засовчик без замка. Ручкой служила вбитая в дерево небольшая, тронутая ржавью скоба.

Задняя стена постройки чуть ли не вплотную, с зазором, быть может, в толщину руки, примыкала к обрыву, словно нарочно (не иначе, нарочно, вопрекор здравосмыслу), к самой отвесной, почти вертикальной его части. Воображение услужливо рисовало не слишком несбыточную картину: отрывается либо оседает, неровён час, кусок обрыва — вдребезги хрупкая крыша, всмятку — кто под ней...

Ну-ну, — подтвердил Венчик её мысли, — экстремалы хозяева. Но сейчас, похоже, их нет. И бывают они тут не часто.

Он шагнул к двери, намереваясь отодвинуть засов.

— Стой! — резко сказала Нат.

— Что такое?

— погоди. Думаешь... никого?

— Ну раз засов снаружи закрыт... И прошлый раз никого не было. И раскопщики никого не

видели.

— Ты прошлый раз заходил?

— Мы с Максом там всё общупали. И засов мы закрыли.

— А что там?

— Да ничего, ровным счётом. Голые стены. Какие-то фанерные коробки — наверное, раскопщики оставили. Старые рабочие шмотки, видать, тоже ихние. Щас сама увидишь, — он вновь потянулся к щеколде.

— Не открывай! — остановила его Нат. — Знаешь что... не обижайся, прими это, как мои странности. Ты отойди немного в сторонку... не перед дверью, вот сюда, в сторонку. Просто постой. Подожди. А я одна попробую.

— Зачем? — пожал плечами Венчик, но послушно отошёл.

— Мне интересно самой.

— Думаешь — что-то окажется по-другому?

— Не знаю.

Нат отодвинула засов. В смутных чувствах задержалась перед белесой, неструганной дверной створой. Внутри — тишина. Необитаемая тишина. Необитаемая? Там... Что-то тихонько стронулось у неё в сознании; тонкий сквознячок волненья-неуютя; сердце застучало слишком отчётливо, изготавливаясь. Там. Сейчас она увидит... Может быть...

Нат мельком оглянулась на Венчика, с удивленьем наблюдавшего за её нерешительностью, и открыла дверь.

Посреди сарая стояла крупная лошадь и смотрела прямым на неё. Кроме лошади — никого. Ничего. Непонятная, ненормальная гладь стен; стены, снаружи щелясто-досчатые, изнутри предстали сплошными прямоугольными плоскостями, правда, не вполне чёткими, размытыми, без внятных деталей, зато освещёнными мягким, спокойным воском. Такого света два невеликих окошка никак не могли дать. Сами окошки выделялись, как два ярко белых пятна на безупречной глади стен. В углах помещенья словно застыли полупрозрачные дымные сгустки.

И только центр странной картины — лошадь была конкретна и достоверна.

— Ага... Спокойно. Всё это, конечно, мерещится, — объяснила себе Нат. — Красивая ахинея... а зачем?

Она оглянулась — закрыта ли за ней дверь. Дверь почти сливалась со стеной, была такой же идеально гладкой и светлой.

— Вот и отлично, — вздохнула она, имея в виду, что Венчик там, снаружи, этого всего не видит, и выраженья её лица, слава Богу, сейчас не видит.

Лошадь стояла без привязи, без удил, без

седла. Она буднично перетаптывалась передними копытами, спокойно разглядывала Нат.

Кожа её — ровного мышастого цвета, на лодыжках ног серое светлело до сивины, а в короткой, подстриженной гриве и хвосте — сгушалось в чернь.

Лошадь была не юных лет и, по всему, успела потрудиться на своём веку. Шея массивна, выдвинута вперёд, привычна к напряженью. Спина кряжиста и поката. Ширококостные, однако не лишённые могучего изящества ноги, годные больше для надёжной, неутомимой поступи, чем для азартного скака.

В знак приветствия неожиданной гостье, лошадь слегка фыркнула, пряднула ушами. Но с места не сдвинулась. Вся её безмятежная поза, прямой неупорный взгляд, рассеянное пожёвывание губами выказывали добродушный нрав, самостоятельность, не слишком великий интерес к пришелице.

Нат осторожно подошла ближе.

— Здравствуй. Ты настоящая, да? Вот здорово! Вот — не ожидала!.. А ты откуда здесь? А можно тебя потрогать? — медленно протянув руку, она коснулась жёсткой гривы. — Давай дружить, а? Ты мне нравишься.

Лошадь точно была, что ни на есть, обыкновенна, смирна, привычна к людскому общению. Но — с беглого взгляда лишь. Нат

почувствовала то, стоя вблизи, совсем уже свойски поглаживая ей морду, потрёпывая по расслабленной шее.

Первое — запах. В терпковатый подсол конской кожи, в сырую душность конского выдоха, в запах недавно прожёванного сена было вплетено что-то совсем иное, необозначимое, напоминающее бессвязно многое, а потому — ничего. Это был запах не лошади. Это был запах того, что она везла? Того, откуда пришла? Узнать бы откуда...

Второе — взгляд. Взгляд её содержал больше, чем взгляд обиходной деревенской коняги, которую по невесть каким транспортным нуждам свели сюда, в низину, и на время оставили в сарае. Выражение выпуклых чёрных зраков с медными отблесками было спокойным, уверенным, понимающим. Они не спешили, обстоятельно изучали непрошенную гостью, держали от неё какой-то не злой, затейливый секрет и добродушную иронию к ней — ротозейке.

— Ой! — вспомнила Нат. — Лошадка, а давай я тебя угощу.

Она отчиркнула «молнию» на своей наплечной сумочке и достала пакетик картофельных чипсов с грибами. Они покупали их вместе с минералкой на вокзальном перроне перед посадкой в электричку, чтобы погрызть в дороге, но так о них и не вспомнили. Высыпала шуршащие

желтые лепестки на ладонь. Лошадь втянула ноздрями воздух, оценивая аромат, принялась аккуратно подбирать чипсы. Её шершавый, полувлажный язык приятно щекотал ладонь.

— Понравилось? Ещё? Ты такого, наверное, не пробовала.

То и дело Нат непроизвольно оборачивалась, оглядывала торжественно матовую, ирреальную гладь стен, почти физически, до мурашков по коже, ощущая на себе ещё какой-то пристально наблюдающий взгляд или взгляды. Может быть — мелькнула мысль — для чьего-то нецеремонного досмотра она и оказалась здесь; сама явилась или притянулась неведомым властным импульсом, принятым за собственное хотенье? Какой-то смысл или цель должны, наверное, быть в этом.

Лошадь, угощаясь чипсами, посматривала на неё внимательно.

— Ты же расскажешь мне, лошадка? Отчего здесь такое?.. такие стены... ты такая... это не привиделось мне? Я же не сплю. Кто-нибудь расскажет?.. появится? Я хочу увидеть. Я пойму. Я готова.

Лошадь перестала жевать, повернула голову к выходу прислушалась к чему-то, кратко фыркнула. Нат тоже повернулась к нечёткому прямоугольнику входной двери — кто-то войдёт оттуда? Нет, дверь оставалась закрытой.

Она вдруг почувствовала несильный упор в спину, удивлённо оглянулась. Лошадь мягко, но настойчиво, своим тяжёлым лбом подталкивала её к выходу. Выпроваживала — без раздражения, без спешки, с каким-то даже извинительным видом.

— Ты что, лошадка? — беспокойно засмеялась Нат. — Я же... Мы же с тобой ещё?.. — она сделала попытку отодвинуться, но лошадь опять оказалась сзади, и упор её лба сделался чуть сильнее.

Дойдя до двери, Нат ещё раз оглянулась. Лошадь пожевала губами, мотнула головой. Блестящие глаза были озабочены, почти смущены: мол, ты уж не обессудь, гостья дорогая, не серчай, стало быть, есть причина.

Недоумённая и слегка обиженная (Это за её-то ласки!) Нат толкнула дверь и вышла наружу. Корявая створа со скрипом закрылась.

Крепкий солнечный свет падал на стену халабуды; в совершенной чёткости были видны плохо подогнанные доски — плоские и горбылястые; куски фанеры и ржавой жести; в прорехах меж ними, кое-где шириной в палец, не виделось ничего белого, матового, воскового — лишь обычный землистый сумрак. Стёкла окошек были пыльно серы.

— Что с тобой?! Что случилось? — подошёл к ней Венчик.

— Что?..

— У тебя вид такой...

— Какой?

— Глаза такие... Что ты там увидела?

— А ты? Видел?

— Чего?

— Оттуда... свет. Неяркий, матовый.

— Свет? Что за ерунда!

— И не слышал ничего?

— Нет.

— Даже, как я разговаривала?

— Да нет же. Ты зашла и вышла. Только какая-то... не в себе.

— Ты зайди, посмотри, а?

— Не вопрос.

Венчик шагнул к двери, распахнул её, заглянул в прямоугольный проём, исчез внутри.

— Ну и что тут такого? — донёсся его голос.

Нат, почему-то крадучись, почему-то с замершим сердцем, приблизилась к проёму.

Сарай изнутри был так же убог и незатейлив, как и снаружи. Многочисленные щели меж тёмными досками — рваные полосы внешнего света. Два окошка с мутными стёклами — два белесых пятна на стенке. Крыша — шиферные волны серы и отчётливы. Земляной пол, втопанная в землю каменная крошка. Вдоль стены — старая деревянная скамейка, очень невысокая, как в

спортзалах. В углу — четыре больших, фанерных с брусковыми каркасами ящика — пустые. Пятый ящик перевернут кверху днищем, придвинут к скамейке: по-видимому, он выполнял роль стола. Рядом с дверью — несколько вбитых в стену гвоздей; на двух гвоздях висят замызганные рабочие куртки, на третьем — мятая бейсболка. Внизу брошена пара нечистых резиновых сапог.

Никого живого в сарае, кроме них.

— Так что ты здесь, всё-таки, видела?

— Не знаю... — неуютно поёжилась Нат. — Я видела... не это.

— А что?

— Пойдём отсюда. Как-то мне здесь... не очень. Как будто, кто-то меня... обманул.

Они вышли из сарая. Венчик задвинул засов на двери.

— Тебе, наверное, примерещилось всё.

— Да, — расстроено вздохнула она. — Наверное.

— Что было-то?

— Н-неважно.

— Говорят, бывает такое. Мгновенные самогипнозы. Внезапные картины из подсознания. От резкой смены обстановки. От волнений. От каких-то психологических стрессов. От нервов, короче. У людей слишком эмоциональных. Сны наяву. Ты хотела, может быть, что-то увидеть.

Подсознательно, безотчётно. И ты увидела. Венчик заметил у неё в руке скомканный пакет.

— Это что?

— Чипсы. Мы же покупали.

— А. Я и забыл.

— Нат расправила пакет. Он был наполовину пуст.

— Ты ела там чипсы? — с подозрением спросил Венчик.

— Я? — Нат зачаровано разглядывала блестящий целлофан пакета. — Если бы я...

5

Электричка неслась к городу, рассыпая по вечерним полям-холмам стальной колёсный стукот. Вагон был привычно нечист, обшарпан и непривычно пуст. Несколько весенних легкорюкзачных дачников-огородников. Вяло играющая в карты, трезвая и оттого невыразительная мужская компания. Два потёртых, усталых железнодорожника. Прикорнувшая, поджав ноги, на скамеечке старушка с личиком из пшеничной опары. Всё.

Оконные стёкла с вросшей в них по краям бурой коростой продавливали через себя закатное солнце. Серо-золотые солнечные кляксы медленно ползли по стенам вагона.

Венчик и Нат парили в блаженном хрустале своего одиночества, сквозь который не видно было ничего неряшливого, нудного в изобильной мирской неряши и нуди.

Нат, положив голову на плечо Венчика (мужчина, как-никак), полудремала-полудумала. Сегодняшний странный день... Что случилось?

В нём, в этом дне, запах срезанной травы у железнодорожной насыпи, и ртутистый, с нездоровой озаботой, взгляд косца-«богомолы».

В нём — пенно-зелёное дно впадины и каменистый трамплин Скола, дразнящий высотой и весельем опасности.

Там, внизу — притулившаяся к обрыву, тяп-ляпски сбитая халабуда с вихлястой дверью.

С тем, что за дверью. С тем, чего, вроде как, не было... Оно было. Оно не мелькнуло мерещным вздором в сознании. Оно умышленно открыло для неё на время свою реальность. Реальность, невидимую для других — ненужных и случайных. Значит, она (Отчего бы нет!) оказалась здесь не случайно.

Совсем неспроста — восковая гладь удивительных стен-потолка-пола. За которыми... сквозь которые — неуловимый взгляд. Кто-то оценивал её и решал про неё. Быть может, ей ещё предстоит узнать?...

Конечно же, лошадь. Неправдашняя

лошадь. Съевшая полпакета самых правдашних чипсов. Шершавый лошадиный язык — по ладони. Глаза простой рабочей коняги с мыслью слегка человеческой.

И прерванное с ней знакомство — поспешно, обидно... Кто-то спохватился, что-то не так? А когда будет так? А будет?

Неужели она ошиблась? Если ничего... Если всё — обыкновенный, внезапный «проходной галюн»? Как сказал Венчик. Мог бы и промолчать, ш-шалопай!

Они ушли из-под обрыва, поднялись наверх ни с чем. Нет. Она — с этой лукавой тайной, от которой не будет теперь покоя.

В нём, в этом дне-сумасброде — ложбинка на берегу впадины, окружённая кленовыми кущами. Где очутились они друг перед другом. Друг перед другом... и у Венчика появился нахальный испуг и растерянная решимость в глазах. Явно нуждался он в помощи. И она стала учить его целоваться. А потом поцелуи Венчика сделались настояще мужскими, требовательными, словно, он вдруг повзрослел на несколько лет. И ладони его что-то очень взросло принялись бродить по её плечам... дальше — пуще: пара секунд — расстёгнуты верхние пуговицы на платье («О!.. у сеньора серьёзные намерения!»); и ладонь его уже глубоко внутри. И любознательные пальцы действуют

настойчиво и умело... («Умело-то, чёрт возьми, откуда?.. ну конечно, теоретические основы совращения почерпнуты из нужных фильмов; теперь, от теории к практике... способный мальчик — нет слов; если так дальше пойдёт...»). Дальше не пошло, слава Богу. Захватнический пыл Венчика как-то стал иссякать.

Она не сразу, очень не сразу, медленно убрала его руку, извинительно улыбнулась, наградила его особенно ласковым и долгим поцелуем. И Венчик притих, довольный, что всё ограничилось этим. Слишком чужим, катастрофным могло оказаться всё большее. Слишком хорошо было так, до сих.

Остаток дня там, в ложбине, мелькнул, как минута.

И поспешный путь к железнодорожной платформе, к семичасовой электричке, на которую они чуть не опоздали.

И старый вагон, и его блеклые обитатели, ничего не подозревающие. Всё хорошо, всё. Не всё! Не совсем. Зудящая закавыка-булавка в душе. Зря она так с ним, не надо было ей забываться. Теперь Венчик уверен, что... Слишком серьезно для него. Она намного взрослей. Она должна была... Не умно с её стороны. Нечестно.

Венчика, вопреки воле, распирала щенячья гордость за себя — мужчину, у которого дремлет на плече женщина... его женщина; вздорное

желаньице, чтобы ввалилось в вагон побольше народу, чтобы все шли мимо и смотрели на них, и смотрели... Но на них смотрела только почивающая с сапом и чмоком на соседней скамейке отстиранная старушечка, да и то в четверть глаза, сквозь сон, без пониманья.

Нат подняла голову с плеча Венчика, выпрямилась.

— Вениамин.

— Да.

— Нет, Вениамин. Всё не так просто.

— Что?

— Там. В халабуде.

— А что, в халабуде-то? Я ничего такого не видел. И ты после ничего не увидела.

— Может, это я с тобой не увидела. А без тебя — увидела.

— Это не в халабуде было. А в голове. В твоей красивой, умной, замечательной, поэтической голове.

Пальцы Венчика охотно, уверенно прогулялись по её спадающим на плечи волосам, мягко коснулись щеки, спорхнули к шее.

— Ты думаешь?

— И думать нечего. Яма — конкретно аномальная. Каким чёртом она образовалась? Что-нибудь там из-под земли, из тектонических слоёв. И в самой яме покойничков побывало —

более чем. Начиная с монголов, но монголами, похоже, не заканчивая. Накопилось всякой энергодряни.

— Почему на тебя не подействовало?

— Я прагматик и пофигист. Даже и у меня потом голова стала побаливать. А ты — совсем другой разговор.

— Значит, примерещилось? — ехидно спросила Нат. — И лошади не было? А кто слопал чипсы?

— Дались тебе эти чипсы, — поморщился Венчик. — Несильный аргумент. Может, ты сама?

— Что, я совсем уже... того?! — рассердилась Нат.

— Рассыпались, может.

— На полу ничего не было.

— Может, ты куда-нибудь в угол отходила? Ты же не всё помнишь.

— Я всё помню. Не морочьте голову, господин пофигист.

— Я не всегда пофигист, — засмеялся Венчик, уже слишком умело обнял её правой рукой и прижал к себе. — Вот сейчас, например...

— Стоп! Не отвлекаемся. Ты рассказывал про исчезновение археолога в халабуде. Это, по-твоему, что?

Венчик согласно кивнул.

— Тут случай, конечно, посерьёзней.

— Он исчез в том, что увидел. Значит, он увидел то, что существует само по себе, независимо от него. Нельзя исчезнуть в собственном воображении.

— Не знаю.

— Я тоже, кстати, могла исчезнуть, — таинственно понизила Нат голос. — Но... Они решили, что рано.

— Кто решил?

— Те, кто наблюдал там за мной.

— Ты видела?

— Чувствовала. А лошадь — и видела, и слышала, и гладила, и кормила чипсами. Лошадь была такая же живая, как ты. Только немножечко... чуть-чуть особенная.

— Чёрт с ней, с лошадьё, — отмахнулся Венчик. — Слава Богу, что ты никуда не делась!

— Я, может, и девалась. На время. Если б ты тогда заглянул в сарай, ты бы, наверное, меня не нашёл.

— Ничего себе! — округлил он глаза в шутливом возмущении. — Тебя, оказывается, никуда нельзя отпускать одну.

Нат посмотрела на него укоризненно.

— Фома неверующий. Археолога ведь не нашли? И никуда он не выходил. Так?

— Похоже на то. Но похоже и на другое. Я читал, что есть такое понятие — психологическая

невидимость. Особый настрой сознания. Вроде гипноза. Рядом с тобой — человек: обыкновенный, непрозрачный, живой. А ты его не замечаешь. Будто его вовсе нет. Может быть, у тех, кто искал археолога в сарае, тоже случилось это. Под действием той пакостной энергетики. А археолог преспокойно ушёл и бродил где-нибудь три дня в своём трансе. Или впал в сон, в оцепененье какое... А на четвёртый день — прочухался и вернулся.

— Вениамин, — строго сказала Нат. — Мне надо встретиться с этим человеком. Он в музее работает?

— Работал. ДядьСэм говорил, что уволился. Почему-то взял — и уволился.

— Сходим в музей, к дядьСэму?

— Не вопрос. Но он, кажется, куда-то в командировку уезжал. Надо узнать у Макса.

— Как вернётся — сразу. Договорились?

— Лады. Только... знаешь что?

— Что?

— Ну зачем тебе это?

— Любопытство заело.

— Любопытство... Я, конечно, не сильно верю во всю эту мистику, — всерьёз рассудил Венчик. — Но за тобой надо конкретно присматривать. Не хочу, чтоб ты... вдруг пропала.

— Вот именно, — улыбнулась Нат почти без иронии. — Присматривай за мной, пожалуйста. Я

очень «неконкретная». А с тобой мне бояться нечего.

«Вот дура! — мысленно выругала себя. — Думай, что говоришь. Опять он поймёт...».

Рука Венчика вновь захозяйничала на её плече, будто невзначай пальцы ронялись к ключице и к вырезу платья.

— Да Бог с ней, с этой дурацкой ямой, с халабудой, с лошадьми и пропавшими археологами!.. Со всем на свете. Главное — мы.

В наблизившихся глазах — нечто неумело-мелодрамненькое. Наивная гордость школяра — «фаворита- портфеленосца» первой красотки первого Б. («Ах, юноша, не умеем ещё правильно отображать лицом солидные чувства... ничего, поправимо»).

— Вот... Ты и я. И нам с тобою от-лич-но! Сегодня — такой день. И будет у нас с тобой всё — по высшему классу. Клянусь — сдохнуть-не встать!..

— Клясться не надо, — закрыла Нат ему губы пальцами. — Клятв не выношу. И вообще... не надо слишком далеко думать. Давай жить в сейчасе.

— Да почему? — недоумился Венчик.

— Потому. Так меньше разочарований.

— Ты мне не веришь?!

— Не тебе.

— Кому?

— Многому в этом мире. Справедливости его.
У меня есть кой-какие основания.

— Мы вдвоём сильнее этого мира.

— Вдвоём?..

Электричка вонзалась в город.

Нат смотрела плывущие за окном скопища зданий, на мещанину из заводских труб, стеклобетонных корпусов, шиферных крыш серых пакгаузов, цинковых полуцилиндров — складов-ангаров, электроопор, перекидных мостов, раскоряченных козловых кранов на хозяйственных дворах; на вечерний асфальт с блестящими каплями легковых автомобилей.

Город въезжал в сознание, в мысли, затоплял собою всё. Город своей огромностью, скудностью цветов, многочислом своих конкретных частей, сцепленных в целое, опять напомнил Нат, что и она тоже всего только частица, этого целого. Со всею вселенной своего «я», со всеми запахами своего самопонятья, со всеми вершинами-пропастями чувств — навсего одна утлая мизеринка живого Города, рождённая им и бесспросно присвоенная им.

Нат опять слегка заненавидела Город. За то, что он вновь откромсал все пышные излишки-изыски её мыслей-желаний, выпятившиеся за края здравого сообразья. Но — и залюбила Город чуть-чуть. За то, что он на сей раз

сделал это легко и быстро. И наверное, вовремя. Нат ощутила твёрдую трезвую грусть, как опору под ногами. Весь очаровательный хаос слов, чувств, взглядов, фантазий, постигший их с Венчиком, подвинулся в сторону, поотстал, приглож, призастился дымкой спокойной несбыточности.

Венчик с подозрением посмотрел на неё.

— Что? — засутелились его глаза. — Что? Нат!

— Ничего... Ничего, мой хороший, — слишком взросло улыбнулась она ему, и он вдруг с мягким ужасом увидел себя всё тем же пятнадцатилетним пацаном, сидящим рядом с многомудрой заботливой сестрой.

Он с трудом выдрался из этой оторопи, снова обнял Нат, отчаянно придвинулся к её глазам.

— Всё, что было — правда. Что было с нами — правда. Ты — самая лучшая. Поняла, да? Поняла?.. — потребовал, попросил он.

— Конечно, — с высоты своей предательской взрослой грусти кивнула она. — Всё — высший класс. Всё — о-кей.

До чего же противна эта опора благого бесстрастья! Почему не может, не хочет она заразиться от этого мальчишки его неумелыми чувствами?

Нат торопливо, глупо чмокнула его в щёку и отвернулась к окну.

— Эй, хочешь стихи, а? Щас. Что же тебе...

так, наобум... ага, вот...

*Мой кровожадный друг. Мой нежный враг,
Эльмонто,*

*Ничто мне ни в урок — пословица права.
Побрит и надушён, с манерами виконта,
Льёшь в чопорный бокал шампанские слова.
Как я была глупа! О, как же я устала!
Ну — всё! Скажу, что всё. Всё вдребезг,*

вдрызг в душе.

*И что отныне... Но... на пальчиках суставы
Изменниц-рук моих обчмокал ты уже...
Табачные зрачки — два восхищённых враля
Опять сучат лассо из старых паутин.
Нет. Поищи других для глянцевого рая
Неправедных чудес, неправдашних картин.
Нет, вкрадчивый Эльмонт — ковбой, колдун,*

катала.

*С улыбочкой — на нож... Не ты ль меня учил?
Смотри, как я пройду на середину зала.
Смотри, как обернусь к кому-то из мужчин.
А что, вон тот крепыш со взглядом*

Монте-Кристо.

*Попробуй-ка поддень его на свой нахрап...
О Боже! Это мне? Кулончик с аметистом?
Под цвет моим глазам. Да, дорогой, ты прав.
Нет, дорогой... Увы. Сейчас верну без спора.
Я не могу простить, хоть ниц пади у ног...*

А это что? Бог мой! Как совершенна форма!

Я именно такой хотела перстенёк...

*Душистый кварц зубов. Улыбка в тонком
понте.*

Мне душу обессиль, судьбы лукавый нас!

Ещё бокал вина? Да. За меня, Эльмонтик!

*Пропущую меня. Чтоб сладостней
пропасть!..*

За окнами неоновомо грянул вокзал.

КОНЕЦ ВЕЧЕРА

1

Мать работала во вторую смену. Сегодня это было благом для Нат. Сегодня ей особенно хотелось побыть одной.

Вытянутая невеликая комната, одна на двоих непохожих женщин, на мать и дочь, сама была непохожа ни на кого их них, не соответствовала ничьей сути. Они обе пытались придать ей законченность и уют, но что-то мешало отстояться простому уюту. Много было неброских неладов, безмолвных «ссорок» меж вещами-привычками. К примеру, на серванте, с шикарнейшими часами старого серебра, вправленными в лучистую глыбку

какого-то фиолетового с голубыми прожилками минерала, часами, подаренными матери в Йемене неким тамошним бизнесменом, нахально соседствовал маленький будильничек, который Нат привезла из детского дома. С той поры минуло шесть лет; звонок у будильника давно не работал, польза от него была нулевая рядом с высокоточным часовым шедевром. Но, если Нат забывала его завести, мать заводила сама, подвигала стрелки, протирала от пыли и почтительно ставила на место.

На стене, невдалеке от картин, писанных матерью, странных картин, словно увиденных через оконное стекло, обволоченное ливнем: ирреальные изломы и разверстия улиц, вставшие на дыбы синие дома, жёлтые фонари, деревья, похожие на застывшие взрывы, размытые, раскраденные лица людей, морды собак, продирающиеся к зрителю, сияющиеся довыразить что-то сквозь несметный дождь... невдалеке от них висел портрет грустной и нежной яви — Мария Лопухина Боровиковского — который задорого купила Нат.

На книжной полке, притиснутые к материным Кафке, Набокову, Стокеру, Цвейгу, По, Андрееву, соседствовали преданные Нат Гумилев, Блок, Волошин, Ахматова, ветхий Фирдоуси, Ефремов и Бредбери.

В серванте — нетщательно прикинувшийся порядком беспорядок и спор. Среди

стеклянно-хрустальной, керамично-фаянсовой посудной обязаловки располагались материны заграничные сувениры: четыре фарфоровых головы паяцев с кулак величиной, в гротескном надрыве изображавшие Смех, Плач, Страсть и Аппатию. А между Страстью и Апатией беззаботно посиживала пластмассовая белая куколка Маргаритка — давняя детдомовская подружка Нат.

Забраться на широкий жестковатый диван, поджать под себя ноги. Включить шафрановый бра. Положить рядом томик Блока, но не открывать его. Задуматься в стеклянную темень незашторенного окна... Нат любила такие вечерние одиночества с ещё не осевшими дневными облачками мыслей, сквозняками чувств. Потом-потом всё медленно успокоится, придёт душевная безвестная тишь и, может быть, проблеснутся из безвестья слова-узелки созревающих, ещё не подчинённых разумению-смыслу, ещё никаких, ни плохих — ни хороших стихов.

Но сегодня стихи не придут. Даже приманку-Блока она не взяла на диван. Сегодня не быть покою-полёту, слишком ветрено на душе. Что-то сегодня огромно-важное недослучилось, недопонялось. Что-то случилось не так, как должно было стать. Холодная нитка тянется в никуда — предощущенье. Какие-то потери впереди?.. какой-то нелад? Отвязаться поскорей от чёртовой

нитки. Забыть!.. до завтра хотя б. О другом, о другом сейчас!

В разгаре таких сидений иногда приходит, и сейчас пришло, диковинное чувство разъединённости с собой. Нат без натуги воображенья, без выдуманных зеркал, словно от себя отходила и разглядывала себя с подозрительным несочувственным интересом.

Ну да. Вот... Занятое женское существо. Вроде, давно не девчонка, но что-то ещё не сполна женщина. Даром, что двадцать один. Пожалуй, ещё немножечко остры плечи, тонковата шея, плосок живот. Ноги длинные, породисты, стончены в щиколотках, но самую малость, худы в икрах. Грудь? Бёдра? Эти женские неотложности сработаны, вроде бы, на совесть. Но... Чуть-чуть добавить бы грудям-плечам-бёдрам плавной роскоши, гармоничной наглёцы, соблазна-вызова. Конечно ж будет... когда?

Лицо. Красиво? Красиво лицо? Хм... лицо... А что— заметно ближе к «да», чем к «нет». Есть в лице, есть, чего там... Глаза на размер больше дозволенного. Глаза — гречишный мёд, тёмный янтарь — летящи, легки, нет спора. Но полёт их ни с чем не связуем, не всеми понимаем и зрим. Лицо бледно и тонко, способно на кокетливую игру. Но не вполне способно на защиту себя, на броню недосыгаемости, бессомнительной правоты.

Хлопотно. Но пусть. Лицо и глаза — самое досделанное в ней. Лицу и глазам нехилый декор — густо спадающая с плеч волна натурального тёмно-каштана.

Таково это существо внешне. Внутри? В душе? В душе, как и у многих, ей подобных, не особенный порядок и лад. А поконкретнее? Ну-кась, ну-кась, нечего тут менжеваться. Ага. Как же иначе! Разумеется — ждём-с. «Нечта». Как вариант — «некоего». Из ниоткуда.

Мечты-фантазии, разнящиеся калибром экзотики, степенью меланхолии и уровнем ахинеяства. Но это — так, не главное, в четверть серьёза: романтическая пена, сентиментальный «пшик». Мало помогает — не сильно вредит.

А что посерьёзней? Имеется посерьёзней, отчего ж нет? Например, то странное, слегка опасное свойство... возможность, свалившаяся на неё восемь лет назад, во время той тяжкой пневмонии, после гнусного случая на мосту, после прыжка в ледяную воду. Тот пожилой респектабельный доктор, тот шрам на его руке от злых девчачьих зубов... И второй раз: парк, скамейка, лежащая женщина с остановившимся сердцем. Настигнутый и прожитый вновь кусочек её давнего, несправедного счастья...

Возможность «улёта» в чужую прошлую

жизнь. Так пока назовём. Всего два эпизода, но она их запомнила крепко.

Ещё? А конечно — самое большое, самое главное, самое истинное. Стихи. С этим ничто не сравнится. Счастливый простор. Океан... От океана этого — никуда — упаси Боже! Стихи.

Душа душою... Хватит копаться в ней. Лучше другое скажите-ка, господа. Она, как таковая, богосозданье женское — что означает персоною своей на этом не шибко нежном свете? Неужели верен самый верхний, самый убогий ответишко? «Ни-чо!». В сам-де?.. Так ведь доказательств тому хоть отбавляй! И что, она одна такая? Сколько таких уже сожрано без остатка этим, только на первый взгляд, неужасным убогим ответишкой. Неужели верен?.. Типун на язык, господа! Она! Штучный экземпляр! Терпенье поимейте. Её жизнь только разгорается.

А что до будне-сущего мира, облекшего данную особу... Как он ей? Впору? Не жмёт? Ах, жмёт? Авось, притрётся-разносится? А то и её притрёт? Фигу вам, господа! Скорей, лопнет на ней когда-то, к чертям собачим? Не справившись. Нет? Поживём...

Ладно уже — долдонить об эфемерностях! Матерьяльными-то, бытовушными-то благами она как, случаем, не обвешена? Не извольте беспокоиться, тут всё в

ажуре. До полной благовой кучи не хватает малости — лишь полный благовой кучи. И живёт она с матерью в приятном квартироразмахе очаровательного «хрущёвника» с комнатой шесть на три, пятиквдратной кухней и ванно-туалетом, который работает. И получает она неутомительную зарплату детсадовской воспитательницы; лишь недавно повезло ей с этой работой, чем она сильно довольна. И обучается она заочно в педагогическом на филфаке. Хотя собиралась поступать после школы в университет на вожделенную журналистику и документы уже, было, сдала — да забрала их назад. Не к онкурса убоявшись узнав, что на журфак в этом году только контрактный набор, который стоит очень и очень; здраво рассудив, что не по карману ей это вожделенье.

И гардероб её ломится от четырёх платьев, трёх юбок и двух брюк, и обувная полка набита битком двумя парами туфлей, босоножками и всего лишь единыжды отремонтированными сапогами, и...

Э! Стоп, хватит! Куда это, в самом деле, её понесло! Чего расскулилась? Сиди и радуйся жизни. Есть вещи поважнее обувной полки. Например, то, что случилось с ней сегодня. Там, на Сколе, внизу, в замечательно нелепой, хитростной халабуде. Ну-ну... что там случилось-то?

Эта мысль разом оборвала воображаемый

манерный спектаклик самодосмотра и самодознания. Двойная Нат сделалась одноцелой. «Пока нельзя — отцепись! Сказано!.. О сегодняшнем ты будешь думать завтра. Когда в голове у тебя просветлеет, осядет это бедлам. Завтра. Или никогда».

Она резко, чуть сердито встала с дивана, велела себе равнодушно зевнуть, потянуться. Пошла на кухню ставить чай. Охотно съела два бутерброда с колбасой и горчицей и один бублик с маком. Рассеянно полистала оставленную матерью газету «Про всё».

Вернулась в комнату около двенадцати, расстелила на диване свою постель, юркнула под одеяло, озабоченно уставившись на завитки настенных обоев, не чая скоро уснуть. Но вдруг уснула легко и прочно.

2

Если бы она ещё с час пободрствовала, ей пришлось бы ко всем сегодняшним удивленьям добавить ещё несколько маленьких удивлений. Нат удивилась бы выраженью лица вернувшейся с работы матери. Лицо было усталым, отяжелённым простыми дневными заботами.

Но в глазах, наперекор непогоде лица, словно против её желанья, то и дело всплёскивались токи

странной радости. И вдруг улыбалась она отрешённо, почти празднично.

Нат удивилась бы тому, что мать, бесцельно походив по полутёмной комнате, по освещённому коридору, чересчур пристально поразглядывав себя в зеркале, черечур внимательно ощупав глазами дочь, с осторожностью — не скрипнуть бы, не звякнуть — открыла дверцу бара в серванте, налила себе маленькую рюмку водки и выпила залпом.

Но особенно удивилась бы Нат, когда мать, встав на стул, аккуратно сняла с шифоньера старый чемодан, который покоился там немало лет, унесла его на кухню, плотно прикрыв за собой дверь, достала из него краски, кисти, складной мольберт, торопливо, загораясь нетерпением, установила его на ножках, прикрепила лист тонкого белого картона, на минуту нервно задумалась. Потом резкими, спешными вскидами карандаша принялась делать набросок. Шёл второй час ночи.

МАТЬ

1

Нат долго отвыкала от детского дома. Шутка ль — отвыкнуть от огромной, горячей части своей жизни! Поначалу — и не желала отвыкать,

запретила себе. Лишь в последние годы начались медленные, тихие перемены.

А шесть лет назад она впервые переступила порог этой квартиры, огляделась вокруг спокойно, холодно, недоверчиво. Блаженственные иллюзии насчёт нового будущего её не донимали. Слишком взрослая она была для таких иллюзий, слишком кое-что соображала. Жизнь ничего не подносит задаром — эта истина с детдомовской кашей усваивается много быстрее и чётче.

Решение она приняла резкое и лёгкое. «Ладняк, пожуём — увидим, вдруг — ужуёмся». Хотя... А нет? Миль пардон, она не карапузка и дорогу назад знает. И знает, что её примут назад. Но! Всё-таки, может быть, ей удастся когда-нибудь самой себе объяснить эту женщину. Только лишь объяснить эту женщину. Не оправдать её. Лишь объяснить себе. КАК?!

Красивая, изволнованная, раздёрганная смущением женщина, приведшая её сюда, была её матерью, законной и неоспоримой. Нат при первой же встрече сразу узнала её и вспомнила её ту, давнюю, ярко молодую, сильную, порывистую. Но лучше бы Нат не смогла вспомнить её ту. Потому что случилось ужасное. Она пронзительно вспомнила и ту себя...

Детская память — словно шёлковая податливая паутинка. Через неё могут почти без

следа проскочить плотные металлические события. Но надолго, часто пожизненно, застревают в ней оболочки событий, лёгкие лепестки сопутных чувств, цветные обертки впечатлений — радостей или бед.

Нат три годика. Недавно наступил Новый год, ещё не убрана лохматая хитрая ёлка и не опустошены подаренные коробки с конфетами. Лицо мамы расстроено неизвестно чем, глаза вроде бы мамины, но в них что-то немножечко не мамино, они чего-то боятся, куда-то спешат, они уплывают от её взгляда...

Потом — улица. Новенький, скрипящий под сапожками снег. Большая рука дяди Стаси. Они идут куда-то, но не гулять, потому что в другой руке дядя Стася несёт синий чемоданище. Не гулять, потому что от весёлого скрипчика снега Нат совсем не весело.

Под шубку, под кофточку, под кожуцу, под рёбрышки, внутрь её, вползает холодная гусеница — непонятное, нехорошее чувство. Она беспокойно крутит головой, но спросить, куда они идут, не решается. Потом они ехали на такси и приехали к серому усатому дому. Усами ему служили два длинных решётчатых балкона, выросших на втором этаже. Дом сразу не понравился Нат, и она захныкала на пороге. — Ну что ты, глупенькая, — сказал дядя Стася, — Мы же туда на елку. Там

знаешь, какая большая ёлка? И дед Мороз, и Снегурочка, и подарки. — Правда? — озабоченно спросила она. — Правда, — ответил он, отворачиваясь...

Мать сразу ей всё рассказала, в первую же их встречу. Рассказывала многословно, сбивчиво, с излишними подробностями, не самобичуясь и не оправдываясь, с напряжённым бесстрашием. Это бесстрашие ей, видимо, недёшево стоило, судя по приливам бледности на щеках и трём таблеткам, торопливо проглоченным в ходе разговора.

— Ты уже почти взрослая. Выслушай, как есть, подумай... и решай. Я признаю справедливость любого твоего решения. Но прежде — выслушай. Я не имею никаких моральных прав. Кроме одного. Права рассказать тебе.

Они просидели весь вечер на скамейке в сквере против детского дома, и она рассказывала. Нат уже совладала с собой, потушила пожар в памяти и слушала теперь с умело поставленной скукой. Временами не удерживаясь от хамовато-иронического сочувствия во взгляде. Иногда проявляя неприязненный интерес. Но — молча, отсторонне молча, лишь мыслями участвуя в её рассказе.

Сколь, оказывается, важно родиться там, где надо и у того, у кого надо, если уж тебе приспичило осчастливить своим рождением этот беловатый

свет! Нат как-то не придавала значения такому серьёзному вопросу и легкомысленно родилась у студентки четвёртого курса художественно-промышленного института. Студентка готовилась в знаменитые художники интерьеро-дизайнеры, занималась и живописью и даже обнаруживала к тому некие способности. Но горластое, увлечённо подписывающее пелёнки произведение художественной любви плохо дизайнеровало как с аховыми перспективами творческого взлёта мамы, так и с бытовой натугой необширной трёхстудентной комнаты в общежитии.

Всё это вышло бы не столь прискорбно, когда бы Нат своевременно озаботилась проблемой собственного стабильного отца. Но и эти обстоятельства ею были так же глупо проигнорированы. Нет, отец её, конечно, имел место быть вживе и здравье. Но координаты его оказались сильно расплывчаты. Он работал где-то агентом по поставкам импортной быт-техники, имел деньги, связи, непустой апломб. Несколько раз он кометно мелькнул на любовном горизонте юной дизайнерши. И исчез по непрояснённым причинам, в неясном направлении. Уж не из-за Нат, конечно, о досадном факте возникновения дочери он и узнать не узнал. А даже и узнал бы? Слишком крутого полёта он был птица.

Итак, пришлось пока оставить институт, отодвинуть перламутрово-пастельные виды на будущее, снять комнату у ведьмоватой старушонки и грянуться с размаху о кремнистый быт матери-одиночки.

По сему поводу ненадолго прибыла самолётом бабушка Нат. Распространяя по убогой комнатухе запах французских духов, посверкивая нефальшивыми камнями в серьгах, она кратко, но красочно отругала дочь за опрометчивость, вдумчиво осмотрела ребёнка, собственноручно передела его в привезённые итальянские ползунки. Но твёрдо заявила, что отдаться благородному долгу выпестыванья внучки сейчас не в состоянии, поскольку с головой окунута в бурнокипучую руководящую деятельность, а именно, является коммерческим директором комбината по производству резиновых ковриков, грелок, клизменных аппаратов и многой другой резиновой необходимости. Финансовое же участие готова принять самое ярое. Слова её не развелись с делом. Она сняла и оплатила для дочери с внучкой прекрасную меблированную двухкомнатную квартиру в центре города, накупила прорву младенческих одежд, оставила немалую денежную наличность и, пылко расцеловав обоих, отбыла восвояси.

Дедушка внучкиными проблемами не

озадачился вовсе и понятия не имел о них, поскольку с законной супругой давненько не проживал и был занят своим единственным долговременным увлечением — пил.

В общем, недоразуменно начатая биография Нат вполне отстоялась и попрозрачнела. Два года они прожили с мамой в добрых хлопотах, достатке, и взаимных симпатиях. В дальнейшем мама намеревалась нанять няньку для своего чада, восстановиться в институте — благо, переводы от бабушки были пока прочны и регулярны — и вновь пробиваться к непоблекшим высям своей творческой назначности.

Но — увы — норовистая кобылица-судьба редко прислушивается к мнениям ею везомых. А вожжи её не всегда туги.

Появился третий. Мужчинище. Высокостроен. Матер. Не молод уже — тридцать три. Не стар ещё — тридцать три. Обстоятелен. Прагмат. Серьёзно намеренный, слава те, Господи! Беспонятная, но мелозвучная профессия — гидрогеолог-тектоник. Крепкий специалист. Дважды работал за границей. Деньжаст. Хлёсткое в оттяг имя — Стас.

Очаровательный финал десятка бодрых встреч, пятёрки истомных ночей — свадьба. Без помпы, но со вкусом, в уютном рестораничке, немногочисленной компанией, в основном, его друзей и родных.

Ей-Богу, славнейшая же получилась парочка! Она — без полутора курсов, художница, взрывна, горяча, романтична, с креном в сюрреализм, влюблена до исступления. Он — олицетворённая надёжность, спокойный напор, трезвый анализ, умная хватка. А как поёт под гита-ару-у!..

Они совпали, как ключ в замке. Изысканная гармония противочерт. Увлекательное дополнение друг друга. Чего бы ни жить, спрашивается? Жили. Ещё как!

Нат прилагалась к парочке бесплатным, не слишком тяжёлым догрузком.

Ах, Нат, Нат, опять она не поняла ситуации! Не прониклась должным причинно-следственным серьёзом. Не научил её ничему суровый двухгодичный опыт беспанного детства, нет, не научил. Ей бы розовощёким безмятежным херувимчиком вспархивать в нужные моменты (в нужные!) на твердь мужских коленей. Ей бы мило и преданно очмокивать свежесвыбритый монолит подбородка, восхищённо гладить бы обкуренные усы. Да чирикать-ворковать бы пленительно неумелые, дальнедействующие словечечки экстренного обожания.

Глядишь — и подтаяла бы спартанская сердечная мышца гидрогеолога-тектоника. Извлёк бы он свою исподнюю родительскую негу наружу и прострелился б навывлет счастливой

околобожественной истиной: «Дщерь моя есмь чадо сиё! Дщерь возлюбленная! Инынеиприсноивовекивековаминь!..».

Не случилось. Да и от чего было бы случиться, помилуйте! Когда Нат, поправ элементарную логику событий, повела себя в высшей степени некорректно, вульгарно-эгоистически. Зачем, спрашивается, было показно прятаться от громоздкого басистого дяди под стол, визгливо сопротивляться попыткам извлечения её оттуда? С каким подтекстом адресовался ему беспардонный персиковый язычок из-за маминой спины? Зачем было насуплено молчать в ответ на его конкретные дружественные обращения? А хамоватые вопросы-издёвочки типа: — А ты балмалеем лаботаес, да? А ты с нами зацем зывёс?

Пусть не виртуозен, не искушён был дядя в общении с очень дошкольным возвратом.

Но ведь и очень дошкольный возраст должен иметь какие-то основополагающие рефлексy этикета и обладать маломальской коммуникабельностью.

К тому же, эта нескончимая, неуправимая возня-колготня, эти всюду разбросанные игрушки, искаракуленные полузадушенные книжки. Этот резко усиленный детскими децибелами шумовой фон в квартире. Эти досадные отвлечения матери от

текущих любвеобязанностей к богопосланному супругу...

Словом, Нат (А кто же ещё!?) совершила, по-видимому, всё возможное, дабы в респектабельном дяде Стасе отцовские чувства не торопились воспламенеть. Нездоровая коллизия, вскользь тронутая классической литературой и жирно захватанная бульварщиной (Когда не суждено мне, автору, воспарить до первой — обереги Бог, не вляпаться во вторую!).

С плавным течением времени, возможно, всё бы и выздоровело, снялись бы все заусеницы, и притёрлись бы, приучились бы друг к другу все трое. Но время наволокло новых преткновенных камней-обстоятельств.

Стасу улыбнулся нестерпимый выгоды контракт новой работы за границей. В Йеменской Арабской республике. Руководителем сильной геолого-изыскательской и проектной группы.

Ехать с семьёй. В составе... Жены, конечно, ей там тоже найдётся дело. Ребёнка... Ребёнка? О-о-о! Но ведь ему три года всего! Но ведь душегубный пустынный климат Йемена! Но ведь напряжённейшая работа в сплошных разъездах! Но ведь лютые трудности неотечественного быта! Но ведь небезмятежная политическая обстановка на Ближнем Востоке! Ребёнок... Да ещё такой! Жернов на шее, кандалы на руках. Как? Быть.

Отказаться от контракта? Бог с тобою, такой шанс! Клондайк, Эльдorado и поле чудес в одной упаковке. Чудовищный материальный интерес! Три-четыре года зверской, зверчайшей работы... и — на всю жизнь, до краёв, под завязку.

Что? Призвание художника? А как же! Ну а как же! Сколько там свежих впечатлений для настоящего художника! Художники рождаются не в институтах, но в странствиях. Институт не уйдёт, потом всё устроим, доучишься. Всё можно устроить, если есть с чем.

Да, но ребёнок, ребёнок... Ох, нельзя его туда, нельзя. Мал слишком. До чего же некстати... О! Эврика! Есть же простой выход, конечно, как же мы сразу-то... Ну что ты, что ты, ничего страшного! Предрассудки, мнительность, инфантилизм. Поднимись над этим. Солидное учреждение, полная всё́м обеспеченность, умный призор, душевные воспитатели-профессионалы.

Она привыкнет быстро, дети быстро привыкают. И отвыкают.

Это же дельный выход для дельных людей, не слюняев. Это же наша там работа и для неё тоже, для её будущего процветания. Ну что ты, что ты, дорогая! Это же вре-мен-но! Не пройдёт и четырёх лет, оглянуться не успеем. И всё вновь своим чередом... Что? Не примут? Пустяки, я договорюсь. Обо всё́м можно договориться, если есть с чем.